

АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ



ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

ПОВЕСТЬ

*Посвящается
тыловым детям
войны.*

1

“Коридорная? Система?” — удивятся иные читатели, услышав такое соединение двух слов. Что это такое?

Ну, есть система связи, есть электрические системы — ведь прежде чем попасть в лампочку, ток высокого напряжения, летящий между городами и электростанциями, должен снизить свою мощность и стать таким, каким его употребляют. Но коридорная система? И не только — даже не столько — я, а специалисты-инженеры и уж, конечно же, историки строительных наук подтвердят, что такое понятие и такой термин существует, а сейчас применяется только лишь при строительстве общежитий.

В общежитии — комнат много, и все они выходят в коридор. На всех жильцов один большой умывальник, один или два туалета, одна кухня, не очень-то рассчитанная на приготовление больших обедов. Но в комнатах живет много людей.

Вот это и есть общежитие.

А в старые, чаще всего в дореволюционные, времена большие дома с коридорной системой строили и для, например, больших семей. Там люди тоже

ЛИХАНОВ Альберт Анатольевич родился в 1935 году в г. Кирове. Окончил Уральский государственный университет им. Горького. Автор многих книг. Лауреат Государственной премии РСФСР, премии Ленинского комсомола, международных премий им. Я. Корчака (Варшава), В. Гюго (Париж), “Сакура” (Токио). В январе 2020 года ему вручена Премия имени Владимира Высоцкого “Своя колея”. Удостоен премии Президента РФ в области образования и премии Правительства РФ в области культуры. Был Председателем Российского детского фонда, президентом Международной ассоциации детских фондов. Академик Российской академии образования. Жил в Москве.

пользовались общим туалетом и чем-то вроде кухни, но в каждой комнате жила только одна семья. До той же всё революции такие дома назывались доходными, принадлежали, например, богатею, который за свои деньги строил такой дом, чтобы каждый месяц получать от каждой комнаты деньги. Жильё приносило доход.

А когда всё стало общим, комнаты в таких домах, да и сами дома стали государственными, казенными, и жить там остались или прежние жильцы, или люди, въехавшие вместо них.

Вот в такой дом и привела меня судьба еще совсем небольшим человечкой. Нет, я там не жил. Мои родители обретались в небольшом деревянном домике на берегу городского оврага, а в эту “коридорную систему” их пригласили друзья, которые там жили.

И вместе с родителями, ясное дело, пригласили меня.

2

А всё, что мы видим в раннем детстве, запоминается особенно хорошо и подробно.

Так что я, войдя в высокую, не по тем временам, дверь, оказался вместе с родителями на железной, глухо отзывавшейся лестнице. Она была узорчатой, эта лестница, черной по бокам и блестящей посередине ступенек. Меня этот блеск и удивил, и немножечко порадовал враз. Было понятно без всяких слов, что железное тело старой-престарой лестницы истоптано и отполировано башмаками людей, которые по ней ходят. И эта холодно блестящая середина ступенек, во-первых, указывает людям путь, ими же натёртый, а во-вторых, немножечко укоряет их — ведь и лестницы, если по ним ходят толпы, истираются и, наверное, даже ломаются...

На этом мои думы о лестнице тогда закончились, потому что мы поднялись по ней наверх, и уже другое, всё остальное, отвлекло от неё внимание, привлекая его уже к иному.

А прямо впритык к лестнице, наверху, стояло некое сооружение мало-приятного коричневого цвета — там располагался, как я пойму позже, туалет общего пользования и простейшей конструкции: дыра, ведущая во тьму, и две деревянные досочки для ног, без слов объясняющие, чему и как следует быть.

Перед туалетом располагалось помещение, которое можно было сразу признать кухней: на столиках возле стен, шипящие и молчащие, стояли примусы и керогазы, приборы скромной предвоенной цивилизации, которые помогали взрослым готовить пищу себе и своим несмышлёным чадам.

Столов, на которых стояли эти приборы, было штук семь, не очень больших, и без объяснения — чьих-то личных территорий, одни из которых были чисты, опрятны, протёрты, обтянуты клеёнкой, а другие носили следы не-решливости и неопрятности.

Из этой кухни общего пользования две двери вели, похоже, в жилые комнаты, а главная, двустворчатая и настежь распахнутая, шла в непривычно широкий коридор, освещённый скудно, одной или двумя лампочками небольшой яркости, и похожий на палубу небольшого корабля или какой-то громадной лодки. А по бокам этого сумрачного пространства снова, впритык к стенам, теснились столики, пониже и повыше, похожие на редкие зубья в мрачной пасти, а в стенах, едва видимые, обозначались высокие двери.

Потом я узнаю, что это и есть коридорная система. Она упиралась в ещё одну широкую дверь с застеклённым верхом, и оттуда отдалённо как-то просвечивал уличный свет, а повернув налево, можно было войти в продолжение коридора, сжатое со всех сторон и содержащее ещё самое малое три двери.

За всеми этими дверями, понятное дело, жили люди. Семьи. И все такие помещения являли собой довольно большие, но комнаты, а уж получив их, кто-то из жильцов разделял пространство фанерными переборками, а кто и не делал этого и тогда жил внутри большого, чаще всего малоуютного, пространства, что ли...

Чаще всего вдоль стенок там стояли кровати — кровати, много кроватей. А ещё платяные шкафы и шкафчики, тумбочки, обеденные столы и столики для занятий школьников, висели тряпичные абажуры, модные тогда и сделанные иногда хозяйками из цветных тканей и обыкновенной проволоки...

В общем, вот я уже и описал одну из первых таких комнат, в которую я вошёл ещё до войны.

Году этак в одна тысяча девятьсот сороковом...

К родителевым друзьям — дяде Грише и тёте Лине, у которых была ещё дочка Ларка. Чуть помладше меня.

3

Причина, по которой мы пришли, давно, конечно, забыта, да и разве возможно её запомнить, ведь тогда принято было ходить не только на дни рождения и праздники, а просто — в гости.

В гости ходили просто так, развлечений-то не хватало! Если новый фильм в кинотеатре, которых было маловато, так шёл он месяца два, а то и три, и было принято смотреть их по несколько раз, чтобы лучше, может быть, запомнить. И про фильмы эти долго и подробно говорили взрослые, собравшись просто в гости, и всех-то они артистов знали по фамилиям. И где, кто, в каком кино снимался.

Взрослым такие разговоры были интересны, они даже как будто соревновались в подробностях каждого кинофильма, но особенно жизни их героев, кто, по слухам, на ком был женат, а кто развёлся, а кто ещё как-то в чём-то отличился, чем был награждён, и что о ком как будто бы что-то сказал.

Папа мой и дядя Гриша сначала слушали оживлённые рассуждения, даже пробовали поучаствовать в беседах о кино, потом подсаживались поближе друг к другу и заводили какой-то свой мужской разговор, а потом и вовсе поднимались на ноги и объясняли, что уходят покурить, на что женщины даже не обращали внимания.

Покурить дядя Гриша всегда приглашал моего папу в одно и то же место — где кончалась лестница, коричневым лоском поблескивал огромный туалет и сияла — или же укоризненно молчала неубранными столиками общая кухня.

Чаще всего я выходил за мужчинами на эту площадку — тут было больше света из окон, да и вообще какого-то пространства.

Взрослые, облокотившись о перила, покуривали, говорили речи, непонятные пока мне, а я ластился к отцу, и он меня не прогонял, гладил по голове, и получалось, что я хоть и не курю, но без меня это взрослое курение на кухне, соединённой с железной лестницей, не обходится.

Иногда из комнаты приходила Ларка, но отчего-то у нас с ней разговор никак не шёл дальше того, что я утверждал, будто она никакая не Ларка, нечего, мол, тут красоваться, а простая Лариска, и всё тут, а она, соглашаясь, что хоть, мол, она и Лариска, но ведь когда они вырастут, к ней станут обращаться по имени-отчеству — Лариса Григорьевна. А это звучит строго. Да и вообще, я хоть её постарше, но ещё мал судить о женской красоте!

Ха! Мал! Да ведь она сама-то малее меня, пусть и на один год, но малее же! Что-то у нас с Ларкой-Лариской не клеилось. Тоже мне, Лариса Григорьевна!

Зато на кухне завязывались знакомства!

Не успевали папа с дядей Гришей выкурить по полпапироски, как в кухню кто-нибудь обязательно заходил. То заглядывали незнакомые нам женщины, то лестница начинала глухо и, конечно, с железной интонацией звучать под тяжёлыми мужскими шагами, и в перешейке между туалетом и кухней появлялся взрослый мужчина. Он обязательно подходил “поздоровкаться” с дядей Гришей, ну и, понятное дело, познакомиться с отцом. Или эти взрослые сами говорили немного про себя: мол, работаю в стройконторе, на заводе, который делает школьные принадлежности, или вообще

на железнодорожной станции, или, когда новый знакомый уходил к себе, дядя Гриша, понизив голос, если на кухне был ещё кто-то, кроме меня и Ларки, или голоса не понижая, — говорил громко:

— Этот Леонид хороший прораб, но вот беда, простывает на стройках. Часто болеет.

Или, например, говорил:

— А этот Аркадий преподаёт марксизм в пединституте, но как-то закрыто себя ведёт, много не болтает и учит иностранные языки. — Дядя Гриша делал ударение на букве Ы в слове “языки”. — Выучил уже немецкий, теперь выучивает аглицкий.

Я ещё и понять не был в состоянии, что, называя английский аглицким, по очень-очень старинному обычаю, дядя Гриша как-то немножко — а может, и множко, — иронизирует перед отцом. Они-то никаких языков не учили.

Но я тогда ничего этого не мог понимать, даже не был в состоянии оценить, что это значит и почему какой-то тут дядечка учит иноземные языки.

Я просто запоминал, как зовут этих дяденек: Леонид, Аркадий, подходил потом шофёр Владимир. Подходили попозже и их жёны — с кухонными делами, и дядя Гриша уточнял отцу, кто тут кому приходится женой, кто чей муж, и тут моя головка всё путала, как путаются взрослые люди всегда и во всех детских соображалках.

4

Потом я стал знакомиться с детьми.

Это заставляло поджиматься, отлепляться от отца, становиться самостоятельной фигурой.

Сначала ко мне подвели толстоватого Артура. Оказалось, что он сын того дяденьки, который учил иностранные языки. Ну, подвели и подвели — он протянул мне зачем-то руку — в ту пору так детский народ ещё не знакомился, — ну и мне отец велел протянуть руку. Но ничего не произошло. Ничего во мне не вздрогнуло, как и в нём. Только я вдруг спросил, и для себя-то неожиданно:

— А почему Артур?

И тут его отец расхохотался. Только что он жал руку моему отцу и назывался совсем обыкновенным именем — Аркадий Васильевич, а тут почти напугал меня, да и папу, наверное, удивлённо воскликнув:

— Ты счастливый человек! Тебе ещё только предстоит узнать, что такое янки при дворе короля Артура!

— Ну какой же он король? — искренне спросил я.

— Не король, не король! — продолжал смеяться весёлый Аркадий Васильевич. — И никогда им не будет! Но зовут его Артур! Это мы его так называли! Его бестолковые родители!

Вообще, этого смешливого дяденьку, отца Артура, я видел в дальнейшей жизни всего раз пять, не больше, проникая в коридорную систему этого странного дома, и всякий раз он, узнав меня, приветливо спрашивал:

— Ну, не прочитал эту книгу? “Янки при дворе короля Артура”?

И я мотал головой, пока классе в пятом не наткнулся в городской библиотеке на растрёпанную книгу с таким названием американского писателя Марка Твена, быстро проглотил её — в смысле, прочитал, — и потом отыскивал сочинения этого писателя до тех пор, пока не сделал в нашей главной детской библиотеке доклад “Любимые романы о старой Англии”, получив за него не только грамотку с печатью, но и почти новую книжку Марка Твена про Тома Сойера и Гекльберри Финна, приняв которую несказанно удивился, никак не ожидая увидеть Марка Твена пахнущим типографской краской и свежим клеем: ведь только что прошла война.

После взятия такой высоты я стал прямо-таки искать встреч с Аркадием Васильевичем. Чтобы, больше не срамясь, доложить, каким я стал глубоким знатоком Марка Твена.

Но Аркадия-то Васильевича я уже никак не мог увидеть. Он уехал куда-то учиться на целый год или даже три года, и знающие люди не могли даже

и предположить, где так долго учатся и чему. А Артур молчал, и мать его Людмила Степановна, которую тётя Лина звала Милой, тоже молчала из каких-то таинственных соображений. А объяснять мои странные — да и случайные — познания Артуру у меня не было желания. Да и он-то, казалось, сторонился меня.

Однако тут я забегаю вперёд... “Янки при дворе короля Артура” я прочитал уже в конце войны. А руку Артуру пожал над лестницей ещё перед войной!

Сколько воды, сколько крови, сколько бед пролилось и прокатилось над всеми нами и над каждым из нас!

И над коридорной системой, в которую мы лишь изредка заглядывали.

5

Из всего, что было перед войной, я запомнил ещё Новый, 1941 год. А речь именно и конкретно — про последний день декабря 1940 года, в полночь превращавшийся в 1 января 1941-го.

Мама и папа, поговорив о чём-то взрослом между собой и в разговор этот меня не вмешивая, совсем для меня неожиданно заявили, что Новый год они вдвоём, без меня, решили отметить в том самом известном мне доме, где двери выходят в широкий полутёмный коридор. А я останусь дома, с бабушкой, вовремя лягу спать и когда проснусь утром, все мы опять встретимся, но уже в наступившем новом году.

Я даже не сумел ещё толком разобраться, что это такое сказали мне мои родители, но нутро моё малое, что ли, тут же учуяло опасность. И ещё до того, как сказанное оценила моя душа, взвыло всеми мыслимыми регистрами остальное существо.

Мне даже показалось, что выли мои руки, ноги, живот и, конечно, голова — ну, как может выть существо без участия головы!

Может, уж думаю из нынешнего своего взрослого бытия, что нутро и есть никому не понятная интуиция, проще говоря — чутьё, которое всё знает наперёд! Но знает и чуёт каким-то потаенным знанием, и я подумал — может, оно раньше всех — раньше мамы и отца, раньше партии и правительства во главе со Сталиным, раньше всего и всякого — знало: это последний, может быть, Новый год я могу встретить с отцом, дальше — война, обрыв, тьма, и сквозь неё ничего разглядеть невозможно!

А в Новый год все должны быть вместе, пусть и в гостях каких-то, а не дома — но в такой праздник люди не-по-дели-мы! И нас нельзя! Ни за что нельзя поделить — я дома, хоть и с бабушкой, — а они! Где-то в чужом месте!

Без меня!

Моя душа скорбела горестно и искренне, отчаянно и беспомощно, может, даже прощальную интонацию услышали родители, которые терпеливо слушали мою слёзную арию. И были они словно замороженные: мой папа, совсем ещё молодой, да и большевик к тому же, и мамочка, медицинский лаборант, а значит, человек естественных наук, почти всегда знающий, где проходит черта, за которой начинается нездоровье.

Она первая и сказала взрослыми словами:

— Будет тебе так заходиться! Пойдѐшь с нами.

Моё уставшее, нагруженное предчувствием нутро будто разом отключилось от всяких горестных состояний. Ему требовалось доброе понимание, а может, сочувствие. Я глубоко вздохнул и, не требуя дальнейших подтверждений, стал собираться на Новый год в чужой дом.

Моя мамочка откуда-то знала, что на кухонной площадке, учитывая тесноту комнат, выходящих в коридор, будет установлена высокая ёлка, и для неё не хватает игрушек. Она сбегала в магазин и елочных игрушек купила. Несколько из них она повесила на нашу собственную маленькую ёлочку — её устроили прямо на столе, и я водил пальцем по сияющим поверхностям золотых шаров, по серебряным бусам — потому что сказочная гладкость рождала во мне предчувствие чего-то необыкновенного, волшебного и ни

с чем не сравнимого. Особенно нравились мне ярко-красные пульки на ниточках с проволочными приспособлениями внутри. Пульки, очень даже не маленькие, сравнимые — если бы я что-то знал об этом в то время — с малюсенькими снарядами, висели на ветках, склоняя их своим весом. И были удивительным образом тяжеловесны и странным образом убедительны. Печально, пожалуй, слышится — но тяжело убедительными.

Что-то подобное сказал и дядя Гриша, когда мы вечером под Новый год пришли в тот, известный уже, дом, поднялись по железной лестнице и увидели ёлку с редкими игрушками в пространстве между кухонными столиками, на которую мамочка стала развешивать принесённые нами игрушки, среди которых оказалось штук пять красно-золотистых пуль. И вот дядя Гриша, вышедший нас встретить, глянул на них, потрогал рукой, о чём-то подумал и сказал, обращаясь к отцу:

— Для какой, думаешь, это системы?

Отец, похоже, и сам был озабочен такими сравнениями. И ответил не раздумывая:

— Зенитные патроны. Крупнокалиберный пулемет Дегтярёва — Шпагина.

— Что вы говорите! — возмутилась моя мамочка, обнимаясь с тётей Линой. — Это просто ёлочные игрушки! И хватит придумывать лишнее!

6

Новый год в коридоре оказался самым шумным и многолюдным в моей детской памяти.

Оказалось, что все столы и столики из кухни можно переместить в этот широкий коридор, к ним вдобавок вытащить столы позначительнее, почти из всех комнат, где жили люди, а к ним прибавить множество стульев разной конфигурации — от породистых венских до угловатых самодельных, табуреток, топчанов и всего иного, на чём можно сидеть — пусть без удобств, но надёжно, уверенно и спокойно.

Поверх столов женщины раскатали скатерти не первой новизны, а кое-кто и простыни, а мужчины ввернули в электрические патроны, торчавшие вдоль стен, лампочки поярче, и коридор не то чтобы засиял, но просветлел, может, даже заулыбался людям, молчаливо укоряя их: а разве, дескать, нельзя, чтобы я был освещён так всегда!

Потом, вспоминая праздник, мне мамочка пояснила, что, конечно, нельзя и что лампочки, освещавшие общий тот коридор, сменили на маленькие и тусклые уже утром, потому что хоть и немного, но за электричество надо платить и все жильцы этого коридора дружно порешили вернуться в привычный сумрак, нежели тратить деньги. И так-то у всех небольшие.

Но в тот вечер!

Стол, протянувшийся вдоль всего коридора, от начала и до конца, блистал разнообразной посудой — от барских откуда-то фаянсовых блюд, даже блюдищ, до малюсеньких кофейных блюдецек с такими же чашечками, в которые потом нальют вино, с вилками и ножами обочь тарелок разных пород и фасонов, а чашки, супницы, мисочки и даже приличных размеров таз, полный салата, сияли, сверкали и, кажется, слегка шевелились, поскрипывая и постанывая в предвкушении праздника, готовые отдать своё содержимое щедрым устроителям такого парада.

Застолье собиралось долго. Возле стола энергично передвигались многочисленные женщины, большинства которых я не знал, как и не знали мои родители, и тетя Лина активно представляла их здешним старожилкам.

Мама, поворачиваясь ко мне время от времени, охала и ахала, тихо причитая:

— Ой, как бы запомнить! Как запомнить!

И я сочувствовал ей, даже не пробуя запомнить имена и фамилии здешних хозяев и, кстати, их гостей, потому что таких, как мы, приглашённых, было ещё несколько: всё это вместе взятое называлось “складчина”.

Впрочем, непонятное такое слово после его пояснения стало очень даже понятным. Оказывается, те, кто собирался на коридорный праздник, дали деньги, все поровну, и вот на эти деньги застолье и приготовилось: купили овощи, мясо, кур, колбасу и всё-всё-всё, что требуется для праздничного стола. Только на шампанское не хватило, как скажет позже папа, но все дружно обошлись и без шампанского, а беленьким и красненьким.

Где-то к половине одиннадцатого застолье окончательно утряслось — все стулья и табуретки оказались заняты, кроме нескольких, тех, что поближе к входу возле лестницы и, таким образом, к ёлке.

Вся наша семья была пристроена у двери, ведущей в комнату дяди Гриши и тётки Лины вместе с их дочкой. И они, наши друзья, сели справа и слева от нас, как бы окружая и помогая нам свободно чувствовать себя в коридорной системе.

Напротив нас сидела семья Андреевых, как мы узнали сразу же. Черноглазая тётка Зина, бледный, лысоватый, улыбочивый Леонид Петрович, попросту — дядя Лёня, и их сын Лёвка.

Когда его представляли, мой папа вроде как пошутил, уточняя:

— Значит, Лев! Царь зверей!

Но мальчик моего возраста, совсем не теряясь и, похоже, не в первый раз, бойко откликнулся:

— Нет! Просто Лёвка!

И пояснил моему слишком разборчивому папе:

— Ну какой я лев!

Все рассмеялись. Вообще-то рассмеялись сначала мы, все, кто участвовал в разговоре, но скоро папин вопрос и Лёвкин ответ пошли по цепочке вдоль длинного стола, и там раздавался смех, и Лёвке хлопали издалека, а он вставал и всем аплодисментам шутиво кланялся.

Так что Лёвка стал именинником на подступающем новогоднем празднике. За несколько буквально минут.

Впрочем, ведь наш город был восточнее Москвы, и если там, в столице, по радио рассказывали ещё разные шутки — а репродуктор вывели в коридор и включили на полную катушку, — у нас-то праздник наступал на час раньше. И взрослые, пошумливая, переговариваясь, споря и восклицая, стали наполнять свои сосуды.

В это мгновение в проёме двери, ведущей на кухню, появились трое, и все как по команде стихли.

Мужчина был высок и строен, довольно молод, но одет в синюю военную форму.

Мы-то ведь с раннего детства знали, что военные в зелёной форме — это армия: и пехота, и артиллерия, и танкисты. В чёрной форме — моряки. А вот в синей...

Я толком не знал, кто носит синюю форму, а взрослые, видать, знали все, и я посмотрел на своего папу вопросительным взглядом.

Он понял меня и ответил мне шёпотом на ухо:

— Энкавэдэ!

Я смутно догадывался, что это какие-то внутренние дела, милиционеры, например, а высокий человек громко сказал всем, ни к кому персонально не обращаясь: “С наступающим вас, дорогие соседи!” — и сел на табуретку. И возле него, с обеих сторон, устроились его жена с толстой косой, уложенной на голове будто царская корона, и его сын Владька, про которого я уже кое-что слышал.

И все будто выдохнули воздух, набранный в себя. Чей-то женский голос крикнул:

— Спасибо!

Кто-то, из мужчин, добавил:

— И вам того же!

А Ларкина бабушка Лиза, полупарализованная какой-то жестокой болезнью, с рукой, висящей плетью, запоздало и вовсе не тихо проговорила:

— Вашими молитвами.

Её услышали все.

И вдруг раздался тоненький звук колокольчика. Вначале мне показалось, что звук этот просто слышится.

Я повернулся к середине стола и увидел, что чем-то очень похожим машет в воздухе Аркадий Васильевич. Постепенно все утомонились.

А он громким, уверенным голосом проговорил:

— Дорогие соседи! Дорогие друзья! Через несколько минут к нам придёт Новый год! На час раньше, чем в Москву.

Все притихли — как-то настороженно, тревожно.

— Что он принесёт нам? Мы думаем об этом каждый по-своему и верим, что всё будет хорошо. Но мир в тревоге. Немцы стали хозяевами всей Европы! И нам надо... надо собраться с силами. Сплотиться, сжаться, объединиться — не просто так... — Он обвёл рукой стол. — А соединиться духом вокруг одной идеи, одной цели, одного человека.

Тут он помолчал мгновение и проговорил:

— Да здравствует СССР! Да здравствует товарищ Сталин! С Новым, одна тысяча девятьсот сорок первым годом!

У меня в железной кружке ждал своей минуты сладкий морс, а взрослые чокались своими напитками. И все кричали наперебой:

— Ура!

— С Новым годом!

А я услышал, как бабушка Лиза с недвижной рукой опять сказала как-то невпопад:

— Помоги им, Господи!

Я ещё подумал про себя: о ком она? Кому — им? Всем остальным, что ли, кроме неё?

Но стол бушевал, кричал, светился, и час, который отделял нас от столицы, пронёсся одним мгновением, а потом мы услышали голос Москвы, который прозвучал из чёрного и круглого репродуктора. И услышав, умолкли: там кремлёвские часы — по имени куранты — отбивали двенадцать тяжёлых ударов.

Тут уж совершенно все вскочили, даже бабушка Лиза тяжело поднялась, и все опять кричали “ура”, и мне очень нравились эти минуты всеобщей радости, и я сам кричал, как и Лёвка Андреев напротив меня, и мы переглядывались и орали, стараясь в общем хоре своими писклявыми голосками переорать друг дружку, понимая при этом, что это просто такая забава, и перекричать мы, может, и могли бы друг дружку, если бы голоса не тонули в этом многоголосом взрослом крике.

Я кричал и вглядывался в лица взрослых, с которыми познакомился и которых видел впервой, и мне казалось, что все они очень красивые. У некоторых женщин блестели глаза и катились слёзы по щекам, мужчины все подряд улыбались, дети ликовали, равняясь на взрослых и становясь похожими на них.

Мне казалось, что лица, незнакомые раньше, приближаются ко мне и становятся какими-то родственными — будто тут не соседи собралась, да ещё и из чужого мне дома, а просто родня, которая давно не виделась и вот наконец-то собралась, да ещё и в самый что ни на есть счастливый день.

Крик — мне казалось! — длился долго, и я, ещё не пожав рук и ни разу ни о чём с ним не поговорив, уже знал Владьку Деньгина, сына того самого энкавэдэшника в синей форме. И с какой-то удивительной симпатией относился к его матери, которую звали, оказывается, Ольга Петровна, — смущённой, не очень-то нарядно одетой женщине, которую удивительным образом украшала корона из светлых кос. И женщина эта как будто вся светила!

Я уже знал откуда-то, ещё не поговорив, Дольку, которому ещё достанется в этой жизни, потому что Долька — это сокращённое имя Адольфа — слово, которое уже надвигалось на всех нас, и только в конце войны, подрастая, он сменит его, вернее, сменят взрослые, повинные в том, что задолго

до войны, в 1933 году, нарекли его таким, можно сказать, страшным... прозвищем.

В общем, меня захватила вся эта небывалая для тогдашнего дня обстановка: сияющий — хотя, конечно, весьма условно, — коридор, стол, переполненный едой, — кто бы знал, что в последний раз перед великой скорбью, — безмятежные, радостные, разгорячённые лица людей, которые в сей миг не хотят помнить и знать ничего, кроме радости и веселья, захлестнувших их.

И этот до самого дна человеческого искренний праздник закрепился в моём сознании на всю жизнь!

Шли годы, я выросстал, как все мои сверстники, взрослея, как полагается каждому человеку, а эта картинка — то ли невыцветающая фотография, то ли пышущее всеми красками полотно, — хранится в моём сознании и по сей час. И я верю, что хранилась во многих душах, пока они были в нашем мире. Но почти все они уже удалились.

Вместе с ними и память того вечера.

Об одном молю судьбу: позволь, пусть и одному мне, не забыть историю коридорной системы, чтобы рассказать о ней новым людям новых времён, не могущим помнить прошедшего.

Так я встретил Новый, 1941 год. Вместе с моими родителями. И новыми знакомцами.

8

Зима для небольших детей всегда в радость. Если снег пушистый и мягкий, можно вытянуть язык, закрыть глаза и ждать, когда на него приземлится снежинка. А если долго не прилетает, то можно и прямо сугроб лизнуть, и вовсе не страшно, а радостно, когда тебя кто-нибудь в этот миг подтолкнёт и ты всем лицом окунёшься в снежный холод. Потом, когда утрёшься, лицо запыляет, даже загорит странным огнём, и уж без смеха тут не обойтись!

А ещё ведь — ледяные катушки, по которым можно скользить в обыкновенных, но лучше подшитых валенках, санки, снежки, если чуть истеплело, и теперь горят руки от слепленных тобой белых шариков и визжит — от них же — прохаживая девчонка, если ты этим шариком попал ей в спину.

Ларке в тот день я снежком заехать не решился, — все-таки дочка родителей друзей, — да она и без того смеялась во весь рот, пытаясь поймать им снежинку. А вот тётя Лина, которая с ней пришла, на меня даже не взглянула, а торопливо вошла в нашу дверь.

Какая-то надобность заставила меня тихонько войти к себе домой, на цыпочках, сняв в прихожей валенки, и меня остановил её хриплый плач.

— Арестовали! Арестовали! И Ларке не могу ничего сказать.

— Но почему, почему? — спрашивал мамин голос.

— Да по калачу, — ответил сдержанно и как-то неуверенно отец.

Надо заметить, что я-то обретался в летах, когда слова слышимы и даже запоминаемы, но не всегда понимаемы.

Я появился на цыпочках перед взрослыми, чтобы что-то спросить, но они так напугались отчего-то моего невинного явления, что мамочка даже воскликнула:

— Как же ты напугал нас!

А что бояться меня, не понял я, спросил что-то, уж не помню и что.

Вечером мамочка, уложив меня спать и подоткнув одеяло, несколько раз повторила, натужно улыбаясь:

— Никогда не подкрадывайся, сынок! Не подкрадывайся ни к кому! Понимаешь?

Ничего, конечно, я не понимал, и слов таких не понимал — арестовали! арестовали! — но тётя Лина перестала к нам приходить, хотя они с мамой дружили ещё со школы. Мамочка говорила отцу об этом при мне, но он почему-то отвечал, что надо подождать, пусть пройдёт немного времени, и всё выяснится, и Лина сама к нам зайдёт, чтобы рассказать подробности.

Мама охала и ахала, но отца слушала, а потом к нам зашла ненадолго тётя Зина Андреева, мама Лёвки, который сидел в Новый год напротив меня и не желал называть себя Львом.

Единственное, что я услышал и понял, — были слова тёти Зины, будто её прислала Лина. Сама идти не хочет по какой-то такой непонятной причине. Но отправила её.

И тут взрослые засобирались в магазин, а меня оставили ненадолго дома. Такое уже бывало и раньше, так что я не удивился.

Из магазина мама вернулась одна, с пустой авоськой, повесила её на крючок и посмотрела сквозь меня. Обычно всегда спрашивала меня — что да как, интересовалась всякой мелочью, даже заглядывала в мой горшок, а тут молча села и так присидела, пока не появился отец.

Едва он вошёл, первое, что сказала ему:

— Гриша уехал в командировку.

Отец кивнул, не удивившись, ответил:

— Я знаю.

И на этом про дядю Гришу они забыли. А я вот почему-то не забывал. Зачем-то, без всяких причин и поводов, дядя Гриша вдруг возникал передо мной ни с того ни с сего.

Он был худощавый, жилистый, невысокого роста — самый маленький во всей их коридорной системе, но бодрый. Говорил чётко, понятно всем, даже мне, но не болтал, а как объяснял сам же — высказывался. Ну вот и всё. Уехал в командировку, так ведь это же по работе, так полагается. Никак я не мог взять в свой малой толк, отчего же при упоминании этой командировки мамочка как-то понижает голос.

Несколько раз опять приходила тётя Зина, и у мамы был всегда уже готов для неё небольшой свёрток с едой, которую мы не ели, например, твёрдой колбасой и таким же твёрдым сыром, и она их просто отдавала Зинаиде, разговаривая совсем о чём-то другом, и Лёвкина мама забирала этот не такой уж большой свёрток. Но однажды между ними проскочило словцо, не очень мне понятное, но в то же время и очень простое: “Передача”.

Кажется, это тётя Зина сказала о какой-то передаче, но мама насторожилась, сделала паузу и тут же кивнула:

— Конечно, раз человек заболел, ему надо передачку отправить. В больницу не очень-то нынче пускают.

Так и проскочило это случайно произнесённое словцо, и я, как хотела мама, не клонул на него. Да и откуда я, начинавший жить малец, мог знать, что у некоторых русских слов бывает несколько совсем разных пониманий.

9

Между тем никакую тайну не скроешь.

Однажды всё та же тётя Зина пришла к нам не одна, а со своим сыном Лёвкой, и, приняв мамин свёрточек, они позвали меня к себе, мама согласилась, услышав, что тётя Зина проводит меня обратно до самой калитки, и мы отправились к Лёвке, болтая о всякой мелочи, не оставшейся в памяти.

Комната, где они жили, была поменьше, чем у дяди Гриши с тётей Линой, и крайне просто обставлена. Широкая родительская кровать за ширмой и узенькая койка для Лёвки, а между ними, у окна, обеденный стол.

Я запомнил, что вся остальная часть пола была завалена детскими принадлежностями — кубиками, машинками, в большинстве своём поломанными и неновыми, медвежатами с оторванными лапами и безголовыми клоунами. Не было ничего, сделанного из стекла, а остальное валялось свободно и непринуждённо.

Впустив нас в комнату, тётя Зина заворчала на Левку, дескать, опять он не убрал, но ведь и она тут хозяйка, так что ворчанье сменилось быстрыми шагами, и пол в две минуты очистился, а тётя Зина провела по нему влажной тряпкой. Стулья были припёрты к столу, так что мы присели на край Лёвкиной кровати и о чём-то там болтали, заводили не заводящиеся машинки, тщетно пускали их по полу, они порой включались и непременно

въезжали в тети-Зинины тапочки, а она всякий раз вскрикивала, хотя это ведь не больно, и все вместе мы смеялись.

И вот тут-то всё мне стало известно. Потому что Лёвка, перебивавший в голове, чем ещё передо мной можно похвастаться, сказал громко и с гордостью:

— А у нас дядю Гришу арестовали!

Я увидел, как остановилась и сразу согнула плечи тётя Зина. Потом скинулась и крикнула Лёвке:

— Прикуси язык!

Я знал, что прикусывать язык очень больно, и по-прежнему не знал, что значит — арестовали. Поэтому спросил вслух об этом.

Лёвка опять отличился:

— В тюрьму посадили!

— Да нет! — воскликнула тётя Зина. — Его просто... Просто попросили задержаться. С ним беседуют.

И вдруг воскликнула, сверкая чёрными глазами:

— Он под следствием! И его отпустят! Он не виноват! Придрались к человеку!

От таких взрослых выражений дети тогда прижимали уши, умолкали, прятались по углам. И я притаился, ничего-то толком не понимая... Только чувствуя.

Я почувствовал, что мне бы надо поскорее домой. И сказал об этом тётя Зине. Она зорко посмотрела на меня, но ничего не сказала. Быстро оделась, и мы пошли по снежным улицам.

Ведь стояла зима!

Но перед тем, как выйти из дома с его коридорной системой, мы столкнулись с тётей Линой. Мы выходили из коридора, а она вошла в него. И увидев меня, сказала, не удивившись:

— Вот и Коля!

Я поздоровался с ней дрогнувшим голосом. А она спросила:

— Чего же ты к нам не зашёл?

Вот уж ударила она меня! Ведь Холодовы-то были наши давние друзья, не то что Андреевы! И если я не зашёл к ним, когда узнал, что с дядей Гришей что-то случилось, то я — предатель?

Я топтался. Потом неуверенно брякнул:

— Могу зайти...

Но голос тётя Лины дрогнул. Похоже, она пожалела, что как будто укорила меня.

— Нет, нет... — заторопилась она. — Всё правильно, всё хорошо, передавай привет маме! Скоро встретимся!

И добавила смело:

— Все вместе!

10

Но мы так и не встретились до самого начала войны.

Снова, снова и снова вспоминаю я этот день — и всегда буду помнить, пока жив: мы сидим под цветущей вишней, а в цветах копошатся шмели, жужжат монотонно и терпеливо, собирая сладкий сок, и солнце стоит прямо над головой, и я лежу на толстом, стёганом одеяле, а рядом мамочка, папа и дядя Миша, ещё один его приятель, и взрослые пьют пиво из очень тоненьких стеклянных стаканчиков, предназначенных для чего-то другого, но тут пиво кончается, и мужчины встают, берут бидончик и уходят на угол, к магазинчику, где торгуют разливным пивом из бочки. Но тут же возвращаются, идут быстрым шагом, будто куда-то опаздывают, подходят к нам уже почти бегом, и папа говорит:

— Война началась!

Тишина и покой сразу кончились, хотя и шмели гудели по-прежнему, и молчаливо цвели вишни, не принимая к сведению того, что там стряслось с людьми.

Папа переоделся и ушёл на работу, а вернулся поздно и сказал, что записался добровольцем. Ведь он был партийным, как всегда объясняла мама.

А дня через два, к вечеру, к нам пришли неожиданные гости: дядя Гриша и тётя Лина.

Увидев приятеля, отец молча поднялся, молча подошёл к нему и молча обнял. Дядя Гриша, отступив и глядя папе прямо в глаза, неожиданно сказал:

— Я ведь артиллерист, как ты знаешь. Комбат стодвадцатидвухмиллиметровых гаубиц образца тысяча девятьсот тридцать восьмого года. С опытом финской кампании. Таких мало. Могу пригодиться. Вот и отпустили.

Они присели на стулья, и тётя Лина заплакала, сказав:

— Из огня да в полымя!

Но дядя Гриша обнял её за плечи и даже не сказал, а пробормотал:

— Это просто разумное решение. И я не осужден. Только под следствием, а оно ничего не нашло. На войне от меня пользы будет больше.

Они с отцом ушли на войну в разные дни, и дядю Гришу отправили первым — но не на запад, а почему-то на восток. Тётя Лина потом скажет, что ему поручили принимать в тылу артиллерийские орудия. А отец, по армейскому званию рядовой, был послан в военные лагеря, для переобучения.

И вот тогда мы с мамой, оставшись одни, пришли в гости к тёте Лине. Они обе плакали. Одна бабушка Лиза с рукой, которая не работала, смотрела на них сухими глазами и повторяла:

— Всё, что было, прошло. Готовьтесь к новому.

Будто каркала, хотя и произносила эти слова совсем негромко, себе под нос, но настойчиво и уверенно, словно какая-то предсказательница.

Только мы с Ларкой сидели, ничего ещё толком не понимая. Да и посадили нас зачем-то рядом, как двух желтоклювых птенцов. Мол, хлопайте глазами да помалкивайте: детям ещё рано такое понимать.

Эх, матушки, наши лапушки! Знали бы, что я спросил Ларку, когда мы вышли из-за стола и отправились погулять в коридор, где раздавались детские голоса.

— Значит, — спросил я, — дядю Гришу брали по политической?

— Ну да, — ответила она и выдохнула, как выдыхают откупоренные бутылки с морсом.

II

Первый раз я видел коридорную систему после объявления войны. Ничегошеньки в ней не переменялось. Хотя нет! В дальнем от входа углу, повыше лампочки, тускло мерцающей, на каком-то огромном гвозде повисла детская ванночка — не такая уж и маленькая — из поблескивающего металла, которым покрывают крыши новых домов, оцинковки, как я позже узнал.

Просто она тускловата блестяла, и пространство широкого коридора от этого чуточку убавилось.

В коридоре возник Лёвка в каких-то коростах на лице: то ли заболел, то ли с кем-то подрался, но его бодрый голос означал его абсолютное здоровье и жажду действий.

— Ну чё? — обрадованно воскликнул он, совершенно не принимая во внимание, что началась война и дядя Гриша уже уехал принимать тяжёлые орудия.

— А через плечо! — откликнулся хриловатый голос мало мне известного Дольки. Была тогда у пацанов вот этакая словесная переключка, мало, надо сказать, цензурная, но не самая дерзкая. Как мне тогда казалось.

— У тебя-то отца не берут, — придирался лохматый Долька.

— Дак у него ТБЦ, — оправдался Лёвка.

— А что это такое? — спросила Ларка.

— Он болел туберкулёзом, — почти крикнул Левка. — С ним не берут.

— Болел! — не унимался Долька. — А не болей!

— Болел — не болел! — злился Лёвка. — Это дело врачей, а не твое, фриц!

— Что-о-о! — заорал Долька и кинулся с кулаками на Лёвку, да попал ему, похоже, в коросту, и тот взвыл, может, и не столько от боли, сколько от обиды, и проорал:

— Да хуже, чем фриц! Ты же не Долька, а Адольф! Как и Гитлер!

И закривлялся:

— Здравствуйте, фюрер! Адольф Фрицевич!

И тут началась свирепая драка. Долька был постарше Лёвки, ну, может, на год, но в предшкольные времена год — это не просто много, а о-очень много, даже если говорить только о росте и мускулатуре, - и Долька лупил бедного Лёвку почём зря. Тогда говорили: метелил.

Но Лёвка оказался живучим и упёртым.

— Гитлер! — кричал он. — В нашем коридоре! Живёт Адольф!

На крики выскочили из своих комнат дядя Лёня Андреев и Нюра, Долькина мать, так её звали все взрослые в коридоре. Вышли зачем-то и Аркадий Васильевич со своей женой Милой, а из-за них высовывался Артур.

Но Долька с Лёвкой не утихали, сражаясь друг с другом. Хорошо, что никто из них не упал, — другой непременно бы воспользовался случаем и пнул ногой, а это было бы уже за пределом простой потасовки.

Дядя Лёня схватил Лёвку за шею, а перед Долькой выставил ладонь. Нюра хлобыстнула Дольку влажной тряпкой, которую, как орудие главного калибра, вытащила откуда-то из-за спины, и он скрылся.

— Ну и ну! — воскликнул Аркадий Васильевич, который, как я понял ещё в Новый год, был здесь если и не за главного, то за самого уважаемого. — Ну и ну! — повторил он. — Военные действия в собственном коридоре! — И проговорил совершенно непонятное: — Разброд в собственных рядах — это первый шаг к поражению. Хоть на фронте! Хоть дома!

И сердито скрылся за своей дверью. Вместе с женой и сыном.

Потом Лёвка подробно рассказал мне, что полное имя Дольки — Адольф — он не у постороннего какого-нибудь узнал. А у самого Дольки.

Тот горевал, тосковал, говорил, что имя придумали родители, которые в Бога верить отказались, как того требовали с большевиков. Даже если это были самые простецкие большевики — у Дольки-то отец работал шофёром на автобусе. Так бы назвали его просто Ванькой или Санькой, да и дело с концом, но ведь выискали же Адольфа!

И если бы Долька сам не начал, сам не стал кричать, что Лёвкиного отца в армию не берут несправедливо, никогда бы он не стал ссориться с Долькой. Даже драться.

Детская эта драка в общем коридоре стала предметом обсуждения и взрослой публики. Моя мамочка сказала тёте Нюре, что знает семью, где парень постарше Дольки тоже назван Адольфом, но все его кличут Адькой, а это может быть производным от Владьки, к примеру. Но Нюра не спросила, а сказала тоскливо:

— Да ведь в свидетельстве-то осталось?

Мама кивнула и сумела добавить лишь одно утешение:

— Ну кто их смотрит, эти свидетельства?

— Надо его переименовать! — твердо сказала тетя Нюра.

Говорила мамочка с Нюрой при мне, прямо в коридоре, теперь Долькиной тайны не существовало, и хотя он-то вообще ни в чём не был повинен, расплачиваться приходилось ему.

С одной стороны, это вызывало к нему сочувствие, а с другой — что же поделаешь: написано пером, а не вырубил и топором.

Под легкомысленным именем Долька скрывался всем ненавистный фюрер.

12

Тот сорок первый год, так счастливо начавшийся в общем коридоре, становился всё непонятнее: страна голосом знаменитого диктора Левитана объявляла нам о всё новых отступлениях.

И, может быть, всякий раз даже для взрослых, не говоря про нас, ребятню, уверенные, но и печальные слова этого неведомого человека из Москвы каким-то непонятным образом больно касались нашей жизни.

Вторым, после дяди Гриши, взяли на фронт Долькиного отца, дядю Володю, потому что, как сказала тётя Нюра, он был шофёр, а требовалось многое множество шоферов, чтобы оказать сопротивление врагу. Они ведь и машинами рулят, и даже самоходными орудиями, если потребуется.

Ушёл он, как говорила тётя Нюра, заглянув к каждому соседу и со всеми попрощавшись за руку. Ясное дело, это было без нас, мы ведь живём в другом месте.

Так что дядя Володя, как и дядя Гриша, ушёл из дома пешком, с вещевым мешком за спиной, без всяких проводов.

Не попрощавшись ни с кем, исчез и самый образованный из всех соседей — Аркадий Васильевич, отец Артура. Как сказал нам потом Арик, просто за ним пришла легковая эмка, и отец сказал, что едет на аэродром. Потом сообщит, где он. Довольно скоро пришла телеграмма, что он в Москве и зачислен в штат Комиссариата иностранных дел.

Услышав такие слова, коридор как будто сник, удивляясь и не понимая, что это значит. Но втайне эти слова глубоко уважали. Это же известно: чем непонятнее, тем уважаемее.

А вот уход того высокого и худого дяденьки в синей военной форме, отца Владьки Деньгина, я нечаянно застал. Мы зачем-то пришли к тёте Лине, Ларке и их обезрученной бабушке Лизе и только налили чай, как в дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, вошёл он. Только не в синей гимнастёрке, а в зелёной, но с теми же ромбиками в петлицах.

Он улыбался лишь чутьочку, лицо было спокойно, и тётя Лина назвала его Ильей Сергеевичем, отирая стул тряпкой — чтобы он сел.

Но он не сел, а чутьочку наклонил голову и сказал:

— Не беспокойтесь, я зашёл попрощаться. Вечером эшелон на Москву.

И тут глаза его опустились, как-то заблестели, и он добавил:

— Берегите друг друга. Всем нашим коридором! И семью мою не забудьте, дорогая Лина Павловна! Мою Ольгу и моего Владьку!

Он сказал это каким-то безнадежным голосом, как-то очень нетвёрдо, даже неуверенно, но уверенно шагнул вперёд, к тёте Лине, неожиданно наклонился и поцеловал ей руку.

Моей маме он руку просто пожал, и Ларке, и мне, и бабушке Лизе. И бабушка молча перекрестила его здоровой рукой. Он вышел. Было слышно, как он стучит в другие двери. Потом в другие. Ко всем заходит и со всеми прощается.

Потом мы с Лёвкой обсуждали, почему синяя форма сменилась у него на зелёную, и туберкулёзный дядя Лёня пояснил нам, что Илью, похоже, перевели из органов в действующую армию, вот и всё.

Добавил, вздохнув:

— Под пули.

— А чего? — спросил Лёвка отца. — Пули в органы не попадают?

— Ещё как! — усмехнулся его бледный отец, но мы не очень-то поняли это взрослое объяснение.

Итак, Илья Сергеевич ушёл на войну последним из мужчин коридорной системы. Его спокойное лицо мне запомнилось надолго хотя бы потому, что он пожал мне руку по-взрослому, не улыбаясь, да и какие могли тогда быть улыбки, когда человек прощается, уходя на войну!

И всё-таки лицо его выражало что-то особенное. Спокойствие казалось совсем не успокаивающим, наоборот. Какой-то безнадежностью, даже отчаянием тихо бледнело оно.

Все, кто был в своих комнатах, вышли на кухню, к чугунной лестнице, ведущей вниз. Илья Сергеевич появился на пороге своего жилья, а за ним его молчаливая жена, тётя Оля, Ольга Петровна. И Владька.

Владька неожиданно подскочил и повис на шее отца. Молча. Долго не отрывался от его щеки, пока тот не ссадил на пол своего сына, самого из нас высокого и, вроде, взрослого. Обнял Ольгу Петровну. Спокойно и сильно.

Потом резко повернулся и подошёл к краю лестницы. Сделал шаг вперёд, приспустился на одну ступеньку, вскинул голову и приложил руку к фуражке со звёздочкой.

Это длилось мгновение, может, секунду, может, две. Но я запомнил это лицо и эту честь, которую отдавал Владыкин отец всем нам, оставшимся в коридоре: женщинам и детям. И единственному мужчине — дяде Лёне Андрееву.

Отчего я так отчётливо помню эту сценку и уход на войну человека, про которого ничего не знал, да и видел-то его пару раз?

Столько лет, даже десятилетий прошло и столько разных бед, как чёрные тучи, пронеслось над моей собственной семьёй, а вот Илью Сергеевича помню. Будто сидит в моей голове фотография горького цвета — именно вкусом обозначена она почему-то, как будто все заранее известно про этого человека мне, совсем малому мальчишке. И вот этот последний шаг на железную лестницу, ведущую не на улицу, а в войну, я могу если и не понять, то почувствовать. Даже вкус горечи ощутить. Хотя ничего этого мне совсем не было положено.

Но война входила во всех по-всякому. Не зря же говорится, что собаки заранее чувствуют землетрясения и воют, страшась и тем самым предупреждая людей.

Почему же человек, пусть и маленький, — а может быть, именно потому, что маленький, — не способен если не воем, так словами выразить тревогу? Не может предчувствовать беду всей своей небольшой душой?

Я почувствовал. И испугался.

Удивительно, но этот страх заставил меня пореже ходить в знакомый дом, к коридору которого я уже чуточку привык.

Скажу даже и точнее: я стал бояться этого коридора. Как будто был перед ним виноват.

13

Я встречал на улице Лёвку Андреева, и мохнатоголового Дольку, и Ларку. Ни разу не видел только Артура, будто он куда-то пропал. И Владыку. Лёвка всегда звал к себе, остальные были более или менее приветливы, как просто знакомые люди. Кто кивал, кто поднимал руку в приветствии, а Лёвка звал, да мамочка моя иногда ходила проведать тётю Лину, но я всегда находил причину отговориться. Чтобы не ступать на железную лестницу общего коридора, которая теперь меня почему-то пугала.

В ноябре судьба одарила нас сразу бедой и радостью.

На фронте ранили отца, и его отправили санитарным поездом на Урал, но поезд этот шёл через наш город. И он попросил, чтобы его “списали” в здешний госпиталь. А в госпитале работала мамочка.

Вот так: и беда, и радость.

Через пять месяцев после начала войны отец вернулся! Ну да, в госпиталь! А потом ему снова надо было ехать на фронт, второй раз идти на войну!

Как это можно представить себе из наших нынешних времен и как это совершалось тогда, наверное, можем знать только мы, ребята той поры.

Что зависело тогда от нас? Что могло зависеть? Да ничего! Страна страдала вся, поголовно, и пусть раненый, да ещё не сильно, солдат, когда и руки, и ноги целы, хотя, понятное дело, после поправки в госпитале снова должен сесть в воинский эшелон! И это считалось удачей! И даже чудом.

Особенно когда всё так близко...

Отца ранили под Москвой, рассказывал он мне, когда я сидел на его госпитальной койке, вместе с мамой, — а она была тут своя, в белом халате, ведь она работала здесь лаборанткой в лаборатории, — и вот когда отец рассказал мне про Москву и про атаку, где его ранило, мама осторожно перебила его. И произнесла:

— А Илья Сергеевич — помнишь, из коридора?

— Конечно, — ответил отец.

— В общем, семья получила известие, что он пропал без вести.

Отца как-то передёрнуло, будто мороз по коже прошел, и он проговорил медленно:

— Там такая мясорубка... Но он всё-таки офицер, солдаты должны бы что-то знать...

Меня это мамино известие тоже будто чем-то изнутри ошпарило. А я ведь это знал, чувствовал, что будет какая-то беда... Про отца — не чувствовал, а про Илью Сергеевича — откуда-то знал...

И я сказал об этом отцу именно такими словами.

— Знать ты не мог, — ответил отец. — Но чувствовать... Пусть бы наши чувства, — тяжело проговорил он, — почаще нас обманывали...

— Но ведь такие извещения, — проговорила мама, — ещё не значат, что он погиб. Пропал без вести... Мало ли что?

— Ему бы лучше уж погибнуть, — ответил папа. — Ведь Илья — энкавэдэшник.

И покачал головой, когда я заметил, что ведь на войну тот уходил в зелёной гимнастерке.

14

Владьку же увидел в начале декабря первого военного года, и вовсе не на улице, а в нашем овраге.

Он был всё-таки года на два нас, остальных, постарше и умел такое, что нам могло только привидеться во сне.

В суровую зиму овраг наш становился, к удивлению, очень живым местом. Он ведь порос репьем, а репейные зернышки, как известно, клюют птицы всяких пород — и синицы, и снегири, и всякие овсянки и щеглы, и вот находились люди, которые охотились на них. Не для того, чтобы зажарить и съесть, а чтобы просто продать на рынке людям, которые и в войну готовы были купить птицу, чтобы была живая душа рядом.

И вот я издалека увидел пацана, который “рыбачит” птиц. Если кто не знает, как это делалось, можно объяснить. Конечно, лучше всего птица идёт в западенки, так попросту зовут деревянную клетку, но можно ещё к удилице приделать петельку из почти невидимой лески, которую употребляют рыбаки при ловле рыбы. И вот эту петельку, очень осторожно подбравшись к синице, которая, например, клюет репейник, надобно поднести, завести её на оловку и легко потянуть. Птица в петле!

Однако это просто только на словах. На самом же деле надо умело подкрасться, тихо, еле шевелясь, поползти к кусту, где сидят птицы, умело, не спугнув, протянуть удилице и ловко накинуть петлю! Морока, конечно, которая требует дикого терпения, ловкости и необыкновенной удачи.

Я видел парня сверху, с обрыва над оврагом, ведать не ведал, что это Владька, и был поражён, когда охотник у меня на глазах поймал синицу, вынул её из петли и посадил в клетку. Когда удачливый птицелов приблизился, я ахнул. Владька! Знакомая личность!

— И где ты такому научился? — спросил я почти восторженно, разглядев лицо удальца.

— Терпение и труд всё перетрут! — ответил он пословицей. Был, видать, рад, что не только поймал синицу, но ещё и что тому нашелся свидетель.

— А ты заходи ко мне, — неожиданно сказал Владька, — когда у нас будешь. У меня их штук десять. И снегири есть!

Про его отца мы не сказали ни слова, и я через недельку-другую отправился прямо в комнату Владьки.

Я постучал, дверь открылась, и мне приветливо кивала Ольга Петровна, Владькина мать.

— А Владика нет! — сказала она. — Наверное, опять охотится.

И когда я уже стал разворачиваться, предложила:

— А ты зайди, подожди. Он надолго не исчезает. Вот птиц его посмотри.

Я вошёл, разделся и с опаской приблизился к огромной проволочной клетке, которая стояла на тумбочке у окна, чтобы, наверное, светлее жилось птицам.

Щебетание в комнате стояло непрерывное. Штук десять разномастных птичек свистели, пели, щёлкали на разные голоса, пили из глубокого блюдечка, клевали семечки подсолнечника, прыгали, скакали и были, казалось, в самом благоприятном расположении духа.

— И как же вы живете, — спросил я и по-взрослому, и наивно сразу. — Они же и ночью поют.

— Ночью они спят, — ответила Владькина мама, — а если надо, чтобы замолчали, надо накинуть на клетку вот это.

И она накинула какую-то большую и черную тряпицу, вроде плотной шали. Как по команде, клетка умолкла.

— Вот так, — сказала Ольга Петровна, — я делаю, когда Владика надо учить уроки. Но ему это не нравится.

Она вздохнула и оглядела меня сверху донизу.

— А ты в каком классе?

— Ни в каком, — ответил я. — Пойду только на будущий год. Но я умею читать, писать и считать.

— Это правильно, — вздохнула Ольга Петровна. — А то Владик в третий перешел, уже совсем взрослый. А мне надо работать, и ему не с кем учить уроки. Он отстаёт.

— Что вы! — не понял я. — Вон он как птиц-то ловит!

Владьку я тогда не дождался, но, встретив однажды на улице, был им как-то бессловесно одобрен, он улыбался, говорил, чтоб я ещё заходил, и сказал, чтобы лучше к вечеру, когда мама его уже возвращается с работы, чтобы чайку пошлычкать.

Есть такое у нас народное словцо, оно, пожалуй, скорее старушечье и дети его не очень употребляют, но когда надо изъяснить добродушие, тогда — пожалуйста.

Владька изъяснил.

15

Детское и взрослое необъяснимо переплетались друг с другом, конечно же, помогая соединиться между собой, научая малых понимать взрослое, а взрослых озираться на детский мир, не только спасая его от голода и болезни, но и сливаясь в общем, совершенно одинаковом для малых и старых — горе, испытаниях, падавших на всех без разбору их возрастов, их житейских знаний и опыта...

Жизнь показывала более чем уверенно: и взрослые, закалённые, опытные люди враз становятся беззащитными детьми, получая удар судьбы в самое сердце. А небольшие ростом, да и душой, дети способны каким-то тайным чувством и опытом вдруг стать, пусть ненадолго, может, на спасительный миг, разумными, твёрдыми, совершенно взрослыми, способными помочь рядом страдающим взрослым.

Вот и Владька.

С ним прямо целая история случилась. Вернее-то, не с ним, а со мной, потому что во всём, что произошло, оказался замешан я.

Сначала про моего папу. В сорок третьем его ранило снова, и хотя так не бывает, он снова оказался в санитарном поезде, который опять шёл на Урал, и по дороге был наш город, куда его снова передали на лечение в здешний госпиталь. И снова в госпиталь, где работала мама. Только теперь его койка оказалась в большой палате, бывшем зале. И зал этот всегда был переполнен ранеными. Заходить туда оказывалось страшновато, потому что одни тут кричали от боли, другие смеялись, рассказывая шуточные истории, третьи молчали или просили позвать сестру, хотя сестры и так перебегали там от одной койки к другой.

Отец улыбался. И мама улыбалась ему. И я улыбался, им обоим, когда приходил в эту огромную палату.

В те же дни мама захватила меня с собой в воскресенье на рынок. Она обучала меня ходить туда с бидончиком, чтобы научиться покупать молоко, но прежде чем купить его у деревенских женщин, требовалось проверить,

не скисло ли оно и хороший ли у него вкус, и мама обучала меня, чтобы я снял крышку с бидончика и попросил налить в неё немного молока — для пробы. На один глоток.

Продавщицы выполняли просьбу безотказно, и если тебе что-то не нравилось, не имели права высказываться, а уж тем более — ругаться.

Я ходил с мамой не первый раз на такие испытания моей самостоятельности, и в то воскресенье всё обошлось. А когда с рынка уходили, я увидел у выхода Владьку.

В ногах у него стояла клетка с птицами.

Я мамочку дёрнул, она тихонько ахнула, но мы к нему подошли, а мама, растерявшись, спросила:

— Почём птичка?

Владька ни чуточки не растерялся, цену назвал. По-моему, тридцать, были такие красные деньжищи. Но по тогдашним ценам — тридцатка за снегиря — не много и не мало.

— Ты чего это, Владик? — спросила мама.

— Да ничего, — ответил он совершенно спокойно. — Маме помогаю. Хоть чуточку. Мы же за отца ничего не получаем.

Он на меня даже не глянул: разговаривал только с мамой.

— Если бы пришла похоронка, помощь бы давали. Но он пропал без вести. Так что не полагается. Ответа из части не приходит, хотя он и офицер. А мама библиотекарь в школе. И я ничего не умею. Кроме этого.

Довольно подробно всё объяснил Владька, не то растолковывая нам, не то оправдывая себя.

— Извини, Владик, — проговорила моя мамочка. — У меня сейчас денег нет. Брали только на молоко.

Домой шли молча. Правда, мамочка сказала пару раз:

— Это надо же! Надо же!

Она и отцу повторяла своё причитание, как только рассказала ему о встрече мальчика с птицами, очень даже знакомого.

Папа плохо слышал, ведь его контузила авиационная бомба, которая грохнула рядом с укрытием, и, если бы не мощная церковная стена, за которой прятались солдаты, не осталось бы там в живых никого.

Может, потому папа часто лежал, уставившись в белый потолок палаты, и хотя рядом сидел я, да и мама приходила, — думал о чём-то вытянувшись, чем-то встревоженный, будто ищет он ответа, а его и нет, этого ответа. Не бывает.

Когда мама, повышая голос, рассказала отцу про Владьку, тот закрыл глаза и недолго так полежал. Потом сказал непонятное:

— До Благовещенья не долежу. — Полежал опять как-то встревожено. Потом повеселел, будто до чего-то догадался, и проговорил маме: — А почему его надо ждать? Благовещенья?

Я потом спросил у мамы, что такое Благовещенье, и она сказала, мол, церковный праздник. Бывает перед Пасхой. И я кивнул, потому что на Пасху бывают куличи. Если не бывает войны.

Отец лежал в госпитале ещё довольно долго. Время от времени он спрашивал меня про Владьку, но я того не видел, а идти к нему домой почему-то не хотелось. После выписки из госпиталя отцу полагалось ещё десять дней до отправки на фронт, и его выписали домой. После уроков я бежал домой, и, кроме бабушки, меня встречал отец — в своей довоенной штатской одежде — брюках, валенках на босу ногу, иногда в старом пиджачишке с довоенным стажем и в такой же неновой фланелевой рубаше, которую иногда, когда он был на фронте, надевал я.

И вот на третий день примерно он спросил меня, сколько же птиц в большой клетке у Владьки. Я рассказал, что когда был в их доме первый раз, там чирикало, по словам Ольги Петровны, десять. Но он же продолжал их ловить!

— Тогда, — сказал отец, — пойди сейчас к Владьке, только говори с ним без его мамы, и скажи ему тихонько, что я, твой отец, нашел покупателя сразу на тридцать птиц. Однако есть условие: выпустит их всех в одном месте

и сразу. Как на Благовещенье. И пусть он принесёт к нашему оврагу ту большую клетку, про которую рассказывал.

Всё получилось как в сказке. Только с одним Владька не согласился — не понёс свою огромную клетку. Ольги Петровны не было дома, поэтому Владька уверенной рукой как-то мастерски, не доставляя птицам неприятных мгновений, пересадил их в две не такие уж большие западни, и мы двинулись к оврагу.

— Кто же это, кто? — допрашивал меня Владька, но я повторял давно разуценное.

— Это мой отец нашёл покупателя. Но покупает не он, не отец. Отец сказал только про Благовещенье, это праздник перед Пасхой.

— Может, кто из церкви? — предполагал Владька. — А он точно придёт?

Я не знал искренне и честно ответов на его вопросы, и когда подошли к нашему дому на краю оврага, мне пришлось сбегать за отцом. Он вышел и громко сказал, почти крикнул Владьке:

— Сколько денег за всех?

Владька назвал.

— По сколько за душу?

Владька ответил. Отец громко посчитал. Получилось почти тысяча, но не тысяча. Чуть меньше. И отец деловито, будто выполняя чье-то поручение, убрал из своей руки в карман несколько бумажек. Остальные передал Владьке, сказал строго:

— Пересчитай.

Тот сосчитал, кивнул головой, сунул в карман, а отец ему велел:

— Открывай с Богом!

— Как открывай! — воскликнул Владька. — А где получатель?

— Он мне поручил. Доверил. Деньги у тебя? Открывай!

И Владька открыл.

Навеки осталась во мне эта картинка!

Зима сдаётся весне, но снегу полно. День клонится к концу, но ещё светло. Небо серое, но какое-то доброе, потеплевшее.

И в тишине — треск крыльев, распрямляющихся на свободе! Чирикание освободившихся и отлетевших. А ещё молчание тех, кто не вылетел. Краткое молчание, завершающееся радостным возгласом свободы.

Некоторые птицы даже далеко не отлетали. То ли хотели сказать что-то напоследок, чирикнуть — не то чтобы благодарно, а удивлённо. То ли просто не знали, что им теперь делать, на свободе-то, которая требует трудов, а не только радостного чириканья!

Это длилось минуту! Две! От силы три — и стало пусто. Наш добрый, древний мудрый овраг спрятал среди оголённых ветвей своих деревьев и кустов стайку птиц, которым предстояло встретиться весну.

До срока! Раньше поры! Но Благовещение грянуло свободой этих птиц — желтопузеньких синиц, красногрудых снегирей, разукрашенных щеглов, сереньких овсянок и кого ещё там...

Благая весть! Какие слова и какая надежда!

И Владька спросил отца:

— Так это вы?

Отец нахмурился, даже чуточку рассердился.

Потом поднял палец, указывая в небо, и проговорил, помотавши контуженной головой:

— Это Он!

Да, да, отец поставил внятное ударение на букве О!

16

Но вернусь назад, в начало сорок второго года. Когда отец уехал из госпиталя на фронт после первого ранения, опять вернулось к нам в дом тягостное ожидание неизвестно чего.

Однажды к нам — не зашла, а прибежала тётя Лина и рассказала маме, что объявлено уплотнение.

— Пришла, — рассказывала она, — целая комиссия из гражданских и военных. Настучала сапогами и объявила, что ко мне поделят военных, представляешь! Морских офицеров! Из военно-медицинской академии. И не спросясь, ставят перегородку в нашей комнате. Из фанеры!

Она чуть не плакала и, конечно, злилась, что ей силком, хотя муж офицер, воюет в артиллерии, ставят квартирантов.

Мама охала и ахала, наверное, как и я, представляя себе, каким таким образом в нашу комнатёнку поделят двух чужих мужчин, пусть и морских офицеров.

— Да ещё они и врачи! — воскликнула тетя Лина.

— Понятно! — кивала мама, всё-таки она работала лаборанткой в госпитале. — Морские врачи! Только им бы надо на военных кораблях ночевать, а не в вашей комнате!

— Какие корабли на нашей речке?

Ларка была с матерью, внимательно вникала во всё, что та говорит, но молчала, видать, думала. И придумала такой вопрос, что настала тишина.

— А как же мы будем раздеваться? И одеваться!

— Конечно! — после паузы воскликнула её мать. — Полкомнатки, где будем мы, они делают проходными!

Настала раздумчивая пауза.

— И стенку-то фанерную, — добавила Лина, — колотят не мужики, а две бабёнки.

Опять помолчали.

— Видать, деревенские! Но умелые. Колотят споро!

Ещё через неделю мама сказала, что её зовёт тётя Лина, но одна она не пойдёт, и предложила мне пойти вместе.

Отчего бы и нет?! Там были пацаны ведь — и тот же Владька, тогда ещё с большой птичьей клеткой, и Лёвка, который не Лев, и Долька, за которым скрывается Адольф, и Артур, человек из книги Марка Твена.

Мы пошли, но до ребят я так и не добрался. Зато всё остальное меня поразило.

Поперёк когда-то большой комнаты стоял фанерный забор, из простой фанеры, и посреди его была дыра, то есть проход, неуверенно затянутый занавеской на резинке. В проходной части уместилась узкая кровать бабушки Лизы. Другая кровать упиралась в окно. И рядом с этой, приоконной, размещалась третья.

Между бабушкой и тётей Линой шёл спор, старушка считала, что ей нужно спать на ближней к выходу кровати, но тётя Лина настаивала, чтобы она была поближе к Ларке, у окна, там удобнее, ведь бабушка, кроме всего, ещё и инвалидка.

Непривычно для этого тихого семейства вдруг громко хлопнула дверь, и на пороге объявились два человека в чёрных шинелях и в таких же ушанках. Там, где полагалось быть тёплым шарфам, белели светлые шарфики, да ещё и золотистые пуговицы победно сверкали на чёрном-то фоне шинелей.

Громко же, не сдерживая голосов, оба не сказали, а крикнули: “Здравия желаю!” — и перешагнули порожек, протягивая перед собой свёртки.

Тетя Лина заулыбалась, кинулась вперёд, приветливо глядела и бабушка Лиза, только мама моя смотрела испуганно, пока к ней не подошёл первый, гладколикый, будто на его лицо натянута прозрачная резина, блондин, и не представился:

— Капитан-лейтенант Метельский! Евгений Николаевич!

Протянул руку, вроде чтобы пожать мамину, но, когда она дала свою, поцеловал её. Мама же моя даже содрогнулась от такого обхождения. И покраснела. А я не знал, что и подумать! Целуют руку моей маме! Капитан-лейтенант!

И второй, тоже капитан-лейтенант, по фамилии был Хвостов!

Смутные чувства овладели мной. Вроде красивые военные дядьки, в чёрной морской форме, на груди какие-то непонятные значки. Но почему

руку-то мамину целуют? Кто разрешил? Отца бы сюда! Что бы он об этом сказал! Моя же мама — папина жена, зачем посторонним мужчинам руку ей целовать! И почему капитан да ещё и лейтенант?

Я так и сказал, когда и мне они руку пожали:

— А почему сразу! И капитан, и лейтенант! А не отдельно? — ведь я уже кое-что знал в таких делах.

— Правильно говоришь! — хлопнул меня легонечко по плечу Метельский. — Но это в армии отдельно! И капитан! И лейтенант! А мы флот, понимаешь? На флоте всё по-другому! Верно, товарищ капитан-лейтенант? — спросил он Хвостова, которого звали Эдуард Сидорович. Какое забавное смешение имен! Но я уже потом это подумую.

Я смотрел на мамочку и удивлялся. Она как покраснела, когда ей руку целовали, так и ходила розовая. Похоже, ей понравилось, что руку поцеловали. А я, разглядывая её, негодовал. Я как бы вместо отца оценивал происходящее. Я за него обижался. Он же на фронте, а в тылу его жене целуют руку, подают свёрток с колбасой, с рыбой, с сыром, которых по карточкам не выдают, и все довольны друг другом, даже мама...

Нет, то, что она порозовела, у меня вызывало возмущение. Малолетнее, может, но всё же!..

И мамочка моя будто услышала меня. Когда стол за перегородкой был уже накрыт, сияя забытыми яствами, она вдруг хлопнула себя по голове и, покраснев на всю катушку, воскликнула:

— Ой! Простите! Суп! Кастрюля! Я же поставила суп на плитку, а выключить забыла! Надо бежать! А то всё сгорит!

И под лопотание, под восклицательные знаки тёти Лины и двух голосистых капитан-лейтенантов, уже наливших из белой бутылки по рюмкам — по пяти рюмкам, как успел просчитать я, — мы с мамочкой, не оборачиваясь, ринулись сначала во всезнающий коридор, потом по гудящей лестнице, на заснеженную улицу и так бежали до угла, пока гостеприимный дом не скрылся за поворотом, и вдруг...

Вдруг мамочка остановилась и с минуту стояла, передыхая.

— Бежим же! — воскликнул я, но мамочка махнула рукой.

— Да нет никакой плитки! И кастрюли нет. Это я так! Нарочно! Иначе не уйдёшь!

И твёрдо добавила:

— А уйти было надо! Идём!

И мы пошли домой. И хотя я теперь-то ясно соглашался, что уйти было действительно нужно, и что мама краснела-то оттого, что вся её душа противилась предстоящему застолью, запах всегда прекрасной колбаски имел всё-таки свою особую, все принципы разрушающую, власть.

Я от неё отмахнулся. И рассмеялся!

— Ты чего? — спросила мама.

— Да я всё понял, — ответил я, хмыкая.

И тут она остановила меня, подняла мне голову за подбородок и внимательно поглядела мне в глаза. А потом сказала:

— Нет, ты не всё ещё понял. Тебе ещё рано это понимать...

17

А потом в коридоре подряд произошли два события.

У Лёвки Андреева родились сразу два брата-близнеца, а Долькиному отцу оторвало на фронте ногу. Он лежал в московском госпитале, отправлять его на восток не стали.

Я тогда ещё подумал: вот пропал без вести Илья Сергеевич, Владькин отец, и ничего в коридоре не случилось. Или вот дяде Володе оторвало ногу — тоже тишина. А родились на свет Божий два пацанёнка Андреевых, так шум и гам от начала чугунной лестницы до последней паутинки в углу.

Братцы у Лёвки оказались голосистыми — это раз. Хотя, может быть, это двери, ведущие в комнату, оказались тоньше, что ли, других? При мне однажды та самая ничья оцинкованная ванночка для стирки вдруг пригодилась при

купании младенцев, и дядя Лёня, тайный туберкулёзник, решил снять её с гвоздя, вбитого в стенку коридора, и то ли взялся неудобно, то ли ещё что, но ванночка сорвалась и загремела по сундукам и столикам, как гремит, может быть, пулемётная очередь.

Близнецов в ней стали купать каждодневно, пару раз и я был удостоен чести зайти во время такой церемонии. Мальчики были совсем крохотные, даже и сидеть ещё не умели, так что купали их по очереди, как два полешка, и орал они от всей души, но ни взрослых, ни Лёвку это нисколько не смущало. Только я ёжился да ждал, когда меня отпустят. Я ведь вовсе не рвался присутствовать при купании, просто меня пригласили, раз я шёл мимо андреевской двери, а есть приглашения, от которых нельзя отказываться, если ты дружелюбно относящаяся личность.

Во время купания малышей семья, состоящая из дяди Лёни, тети Зины и Лёвки, не в первый раз, похоже, принялась при мне громко, перебивая друг друга, обсуждать, какие имена дать двум ребятам, которые наверняка будут похожи друг на друга.

— Может, Кирилл и Мефодий, — начал вкрадчиво всегда тихий дядя Лёня, и нам, в ту неверующую пору, еще в голову не приходило, что это святые имена, да ещё и людей, давших русским их азбуку, и Лёвка спросил отца не без ехидцы:

— А как будем звать их ласково? Кирик и Мефик?

Тётя Зина хихикнула, заметила:

— Были бы парень да девка, что лучше, чем Олег да Ольга! Никто не забудет!

— Тогда быгодились Пётр и Феврония, — проговорил дядя Лёня, опять выбрав из каких-то дальних далей.

Тот младенец, которого купали, орал во всю мочь, а тётя Зина смеялась ему в ответ и нежно целовала его и в носик, и в попку, а я, уже насмотревшись, норовил протиснуться поближе к двери, пока та же тётя Зина не поняла меня и не сказала, отпуская:

— Привет маме!

Я же не каждый день приходил в этот коридор, и поэтому новости достигали меня как-то концентрированно, когда, например, встречал на улице то Лёвку, то Владьку, то Дольку.

Понятно, что именно Лёвка, повстречав меня, сообщил, что тайные вору похитили детскую ванночку, смиренно серебрящуюся в углу, и общее собрание решило закрыть дверь в подъезд. Так что теперь у них на улице провели звонок, и там висит список, сколько раз кому звонить, чтобы дверь открылась. Это раз. Но, главное, все наперегонки размышляют, кто ходит по ночам и ворует ванночки, ведь главное-то заключалось в том, что могли украсть картошку, которая стояла под кухонными столами, даже примусы, да и вообще-то керосин для них имелся при каждом производственном столике, и его можно было пожечь.

Коридор, когда я зашёл, как-то сжался. На общей, у лестницы, площадке столиков стало меньше, пожалуй, только у Деньгиных остался. А дверь, которая вела в сам коридор, на ночь тоже закрывалась, и у каждой семьи был свой ключ.

На стенах коридора появились гвозди и крючки, впрочем, никаких авосек с продуктами на них не висело — даже лук хранился теперь в комнатах, наполняя их запахами, не вполне приятственными.

Владька с матерью оказались передовым подразделением, которое первым встречало прохожих, где слегка напоминал о своём присутствии двухэтажный туалет и где звонил во весь голос уличный звонок.

Удивительно, но уплотнили морскими офицерами почему-то только тётю Лину, у Андреевых теперь числись трое детей, у Долькиной семьи комната была мала, а на самую большую комнату Аркадия Васильевича Бутакова, хотя он служил в Москве и находился, как повторяли, в служебной командировке, никто не покусался.

Бутаковы с таинственным Артуром и вечно командированным отцом не обсуждались. Но кое-что обсуждалось, и очень даже невесело.

Однажды я сам услышал, как Долькина мать, не очень-то и снижая голос, произнесла примерно такую мысль:

— Почему-то одним снаряды ноги обрывает, а другие в это время мирно размножаются!

— Нюр, Нюр! — сказала ей тётя Лина. — Окетись! Народ гибнет! Рожать надо! И Зинка молодец!

— А почему, — почти крикнула тётя Нюра, — одним можно, другим нельзя!

Ох, не понравилась мне эта перепалка!

Показалось мне, ещё малому созданию, что тётя Нюра позавидовала Андреевым-то!

Но чего тут завидовать!

18

Да и вообще, в Долькиной семье билась какая-то тоска. Хотя ведь война для них, можно сказать, закончилась.

Где-то в далёком госпитале лежит дядя Володя, пусть без ноги, но ведь живой же, живой, и вот стоит ему окончательно поправиться, он вернётся домой. И уже сейчас, ещё до его возвращения, понятно, что он придёт, приедет, — да даже если его и принесут сюда на носилках, — и они же всё-таки обнимутся — тётя Нюра, Долька и его отец. И всё! Задолго до конца войны, для них всё — или почти всё горькое — закончится!

А мой отец? Он три раза уходил на войну. А дядя Гриша, Ларкин отец? Где он и как? Да, он хоть присылает военные треугольники без марок, но Ларка говорит, что папка ни о чём не пишет: “Здравствуйте! Я жив! Как живёте вы? Пишите мне чаще!” И все!

И Ларка, и тётя Лина одинаковыми словами жаловались нам, что их дядя Гриша пишет очень строго, даже сухо и ни о чём не рассказывает.

— Значит, не может! — утешала их моя мамочка. И пожимала плечами. Ведь наш папа тоже писал короткие и сухие предложения.

Зато, оказалось, шофёр по специальности дядя Володя, Долькин отец, присылает длинные письма. Любит в них пошутить, например, написал тётя Нюре, что ему снится один и тот же сон, как они, когда он приедет, обязательно пойдут на танцы, и успокаивал жену, да и сына, мол, ну что вы печалитесь, мне сделают протез, а сколько одноногих мужиков во всём мире умеют танцевать! Чем он хуже.

Мохнатый Долька от такого письма — а точнее, от таких писем — каким-то образом теплел, становился, мне казалось, добрее. Было понятно, что они с тётей Нюрой готовятся к возвращению отца с одной ногой. Долька даже меня спрашивал, захожего гостя:

— Как он будет по нашей лестнице подниматься?

Но, оказалось, Долька с матерью готовились встретить отца и ещё одной тайной.

Однажды ко мне прискакал Лёвка Андреев, просто так, по-пацановски, и вдруг, среди прочей болтовни, сообщил:

— А Долька-то! Имя сменил!

— Во даёт! — выдохнул я, но сразу понял: они готовятся встретить безногого отца из госпиталя. Ну, на самом деле! Как это может быть, чтобы Адольф — хотя этот Адольф ни в чём не виноват! — встретил тяжелораненого отца с фронта.

Конечно же, я спросил Лёвку, какое же новое имя выбрал Долька вместе с тётей Нюрой, и Лёвка забуксовал. Никак не мог вспомнить это новое имя.

— Но зовут-то, как всегда, Долька!

Что-то не сходились концы с концами у Лёвки, сразу понятно, почему он Львом быть не рискует. И мы пошли с ним на улицу. Как-то незаметно я провёл его до его дома, и тут нам навстречу выходит Долька.

Улыбается мне, улыбается и Лёвке, а тот спрашивает:

— Я позабыл твою новую кликуху.

— Не кликуху, — ответил Долька, не обидевшись. — А имя. Долиан!

— А такое имя бывает? — удивился я.

И Долька ответил:

— Ну если и не бывает, то теперь есть!

И полез во внутренний карман, вытащил бумажку, трепетавшую на ветру, и дал мне прочитать.

Там было написано: “Долиан Владимирович Воробьёв”.

Я ещё подумал тогда про себя, что даже фамилии Долькиной не знал. Какой-то молнией меня пробило: как же он жил раньше — Адольф Владимирович Воробьёв?

Ну, и главное мне тоже довелось увидеть. Снова по какой-то причине я зашёл в знаменитый коридор и сразу почувал лёгкое возбуждение.

Из дверей то и дело выглядывали все соседки подряд — и Ольга Петровна, и тётя Лина, и дядя Лёня с тётей Зиной Андреевой! И даже Людмила Степановна Бутакова с сыном Артуром, которого я не встречал целую вечность.

Я даже и спросить ни о чём не успел, когда Лёвка просто тремя словами обстановку разъяснил.

— Воробьёвы за отцом поехали! Сейчас придут! Подожди!

И я дождался.

Сначала дверь сильно хлопнула, и на чугунной лестнице нарисовался Долька. Потом как-то боком вошёл человек в солдатской шинели без погон и в шапке-ушанке. Он продвигался медленно и опирался на два костыля. Но ноги-то у него были обе. Он с трудом, не раз передыхая, двигался, не поднимая головы, но в какой-то миг остановился, сдёрнул с себя ушанку и поглядел наверх.

Это был дядя Володя! Такой же, каким я запомнил его в Новый, сорок первый год, только... Только, мне казалось, что тогда он был чёрным, как цыган, не зря же и Долька мохнатый под отца. Впрочем, дядя Володя и сейчас был мохматым, но только белым! Почти снежным.

Но он крикнул своим голосом: “Привет!” — и все его голос узнали. И все закричали: “Ура!”

Весь этот коридор, вся коридорная система выстроилась в тот миг возвращения дяди Володи Воробьёва наверху, вдоль перил, которые защищали кухонную площадку от лестницы, все смотрели вниз и все кричали: “Ура!”

А дядя Володя, осторожно опираясь на костыли, сначала поднимал их на ступеньку, потом, опираясь на них, переставлял одну ногу, а вторую волочил.

Нетрудно было понять, что другая-то нога у него не своя, а протезная.

Сзади дяди Володи хлопотала тётя Нюра, но ей только это и оставалось — хлопотать, передвигаясь по каждой ступеньке то вправо, то влево, и ещё, наверное, она страховала мужа, если он вдруг не удержится на костылях и начнёт падать назад.

Но он не упал, он двигался, опутив голову и как-то трудно удерживая равновесие, а чтобы не выглядеть совсем беспомощным, громко, чтобы всем было слышно, считал:

— Пять... десять... двадцать...

Когда он одолел лестницу и вскинул покрасневшее, влажное лицо, ступенек насчиталось тридцать, он, чему-то радуясь, воскликнул:

— Люди! Чуть не всю жизнь здесь прожил! А не знал, что ступенек у нас тридцать!

Он сделал ещё шага три, и тут его окружили со всех сторон. И женщины его обнимали — Ольга Петровна, тётя Лина, Зина, Людмила Степановна, говорили радостные слова, Владыкина мать вытирала слёзы, а тётя Лина даже кланялась.

Настала очередь ребятни. И тут дядя Володя стал серьёзным.

За два года мы все подросли, стали если и не взрослее, то всё-таки немножко другими. И дядя Володя затеял игру:

— Давайте, — сказал он, по-прежнему улыбаясь, — я поузнаю, кто из вас кто.

Поглядел первым на Владыку и сразу признал его:

— Деньгин!

И, пожав ему руку, спросил Владьку:

— А как Илья Сергеевич?

Тишина будто ударила всех на какой-то миг. И Владька молчал, ещё не перестав улыбаться. И тут послышался голос Ольги Петровны:

— Пропал без вести!

Шофёр по специальности, дядя Володя неожиданно наклонил голову и так же неожиданно сказал:

— Простите!

Только вот было неясно, за кого и почему он извинялся.

Дальше он узнал Ларку, а тётю Лину спросил о дяде Грише.

— Воюет, — сдержанно ответила она.

Про Аркадия Васильевича сказала сама его жена, тётя Мила:

— Аркадий в специальной командировке. Где и что — не знаю.

И тут настала моя очередь, я был последним из ребят.

Почему-то дядя Володя про меня знал, точнее, знал, что моего отца дважды ранило и он был в нашем госпитале, а потом уходил и опять уходил на войну.

И он сказал вдруг при всех, на той переполненной людьми лестнице:

— Кто-то бережёт твоего отца. Дай-то Бог!

А дальше навстречу дяде Володе выступили Лёвкины родители. Дядя Лёня обнял раненого и сказал ему при всех, довольно громко:

— А мы, Володя, родили двойню. Прости!

И дядя Володя вдруг радостно крикнул:

— Да за что же прощать! — И, отыскав глазами свою жену Нюру, спросил её: — Нюра, может, и мы ещё попробуем?!

И тут все засмеялись — и стар и млад.

И в этом шуме как-то негромко прозвучал голос Дольки, обращённый, как я потом сообразил, не только к отцу.

Он сказал:

— Пап! Я сменил имя! Меня теперь зовут Долиан. Тот же Долька.

Похоже, дядя Володя ничего не знал об этом. Он даже остановился от неожиданности.

Долька мог бы сказать это раньше, ведь он вместе с матерью встречал отца на вокзале. Или позже, когда они останутся только семьей. Но, видно, это известие, вместе с матерью, конечно, они решили объявить отцу в этот самый необыкновенный момент.

Дядя Володя опять остановился. Он умолк перед тем, как утвердить, наверное, это решение семьи, и возникла короткая пауза. И в этой тишине раздался забытый мной голос. И это был призрачный для нас Артур, сокращенно Арик.

— Вообще-то, — сказал Арик, — это имя звучит как Дориан. А Дориан Грэй — это герой прекрасного романа!

— Вот тебе и вынесли приговор, — сказал серьёзно дядя Володя, прижимая Дольку. — Теперь ты ещё и герой! Этого нам только не хватало!

19

А потом пробил час таинственного Арьки. Его мать тётя Мила прошлась по всем жильцам и объявила, что мужа Аркадия перевели в НКВД. Кто-то из взрослых понял, что это такое, остальные сделали вид, будто знают, но тётя Мила всем помогла, объясняя: это был народный комиссариат иностранных дел. Мы, ребятня, даже такого не понимали — очень уж далеко от нас обреталось некое казённое учреждение, которое занималось делами иностранными и, как позже пояснил нам Артур, сплошь секретными.

Что касается секретности, то мы все хорошо помнили картинки, наклеенные на заборах и стенах домов: тетенька с суровым выражением лица прижала палец ко рту, а подпись внизу объясняла: “Болтун находка для врага”.

Ха-ха, конечно! О чём таком секретном могли болтать мы, в ту пору совершенно не разговаривавшие с посторонними дети? Да и какие посторонние

могли быть возле нас? Мамы и бабушки насквозь родные и ни о чём попусту не болтающие — до того ли им? Учителя в школе? Но это же особенные люди — они поставлены были учить нас всему хорошему. Я был совершенно уверен, особенно в младших классах, что подойди, например, к школе какой-нибудь незнакомый дядька или вовсе не известная тётка и спроси — ребята, мол, я ищу завод номер такой-то, на работу хочу устроиться — как её бы скрутили всей школой, даже самые маленькие мальши, или побежали бы за учительницами, чтобы они помогли, или, бросив уроки, стали бы идти за такой личностью, пока не подспеют милиционеры. Впрочем, за всю войну я не слышал ни одного сообщения, даже непроверенного слуха, что на такой-то улице или в таком-то месте задержали в нашем городе фашистского шпиона, свободно говорившего по-русски. Или не говорившего.

Так вот народный комиссариат иностранных дел казался совершенно таинственным и от нас далёким и потому совершенно не интересным.

Аркадий Васильевич за своей женой и сыном всё не приезжал, но регулярно приезжали какие-то строгие люди, даже однажды я поражённо наблюдал двух молодых ещё мужчин, но в шляпах — а в шляпах у нас в войну никто не ходил, — так вот эти в шляпах приехали к тётке Миле на газогенераторке и долго переносили в кузов чемоданы и коробки из квартиры Бутаковых.

Вещи увезли, и комната оказалась пустой, и вот как раз в этот момент нас с мамочкой занесло в дружественный коридор.

Сначала, чтобы быть вежливыми, мы заглянули к Андреевым, и мама повосхищалась двумя пупсиками, которые, подрастая, верещали, как и принято радоваться любой живой твари. И тётя Зина, не переставая оживлённо обсуждать с мамой здоровье малышей, успела отвесить подзатыльник Лёвке, разинувшему рот, но сидевшему за столом, и подать ему команду: “Не отвлекайся!”

Тут же она оправдала себя в наших глазах, выкликнув:

— Плохо учится! Двойки да тройки!

Тут же, мимолетно глянув на Лёвку, воскликнула сердито:

— Да ещё на малышей валит! Они ему, видите ли, мешают! Я те помешаю!

Потом мы заглянули в комнатку тётки Лины, всегда говорливой, но тогда молчаливой. Она сидела на табуретке между двух венских стульев, на которых висели белые кителя морских офицеров, и подшивала к ним белые же ленточки, объяснив, что это свежие воротнички, пришиваемые каждый раз перед выходом, а её квартиранты готовятся к какому-то торжественному случаю.

Тут же тётя Лина сообщила, что дядя Гриша исправно пишет и ему присвоили звание майора, а теперь ведь у офицеров погоны — видите, мол, какие красивые у моряков-то теперь мундиры, вот и у Гриши там где-то тоже. Но он ведь артиллерист, а там все не такие нарядные в сравнении с моряками, да и кто ему там, на передовой, свежий воротничок подошьёт!

Тетя Лина всплакнула, мамочка ей помогла, и мы отправились попрощаться к Бутаковым.

Так вот, когда мама постучала и, наверное, раньше времени потянула дверь на себя, из комнаты раздался женский визг. И я торопливо сунул голову вперёд. То, что я увидел, было не очень понятно. Перед нами, совсем близко, стояла вроде бы тётя Мила. В юбке, в тапках, в тёплой кофте. Но голова её была совсем голая. Просто лысая.

Она верещала, не переставая, потом кинулась куда-то за одинокий буфет и тут же вышла, поправляя кудрявую причёску. Во даёт! На голове была её отличная, даже с локонами пушистая причёска.

Я хлопал глазами, ничего не понимая, а разговаривать о непонятном происшествии было, конечно, неловко. Мама даже вроде поперхнулась и закашлялась. Потом с трудом пояснила, что мы зашли попрощаться и что она желает Бутаковым добра и удач, ведь тётя Мила уезжает в самую что ни на есть столицу — золотую Москву.

Тётя Мила, пришедшая уже в себя, махала руками, говорила, что им уже дали квартиру и на днях дадут пропуск в Москву — туда ведь в войну

кого хочешь не пускали, — но квартира очень маленькая, хотя в самом центре, а у Аркадия должность не высокая, но с перспективой, и Артуру, который учит с детства английский язык, придется добавить ещё и французский. А она, тётя Мила, будет работать в педагогическом институте и преподавать исторический материализм. Вот так, одной длинной фразой без перерыва она рассказала всю свою ближайшую жизнь и, будто споткнувшись, умолкла.

Эти два последних слова я тогда, конечно, не понял и не запомнил, сумев восстановить это уже только теперь, но и тогда мне удалось сообразить, что тётя Мила никакая не тётя и уж тем более не тётка, а может — чего не бывает! — какая-то такая учёная. Учёнее, может быть, чем даже наши ту-тошные учителя.

Артура, когда мы пришли, не было. Он, наверное, доучивал английский язык или начинал осваивать французский у каких-то особенных преподавателей — так нам говорила раньше тётя Мила, так что я с Артуром, или попросту Ариком, не попрощался и больше никогда в жизни не виделся.

Бывает и так.

Большая комната Бутаковых долго не пустовала, её заняла худая и молчаливая женщина с двумя старушками, которая вела образ жизни такой изолированный, что даже еду они готовили не на кухне и не в коридоре, а прямо в комнате, а новая хозяйка стучала в своей комнате на пишущей машинке. Утром она уносила на работу пачки, видимо, испечатанной бумаги, а служила она стенографисткой в каком-то важном учреждении. Каким — мы не знали.

А про Аркадия Васильевича, лысую, как оказалось, тётю Милу и Арика до нас доходили редкие известия. Довольно необычные для нашей жизни.

Старшего Бутакова сразу после войны отправили на работу в Париж, где он служил в посольстве. К тому времени он хорошо знал французский язык, ну и Арик учился, подражая отцу, во все лопатки.

Однажды прямо из Парижа на имя тётя Лины пришла коробка конфет в виде красивенького сундучка с тем, чтобы все, кто помнит уехавших соседей, попробовали их. Но нам, младшему поколению, вспомнить старинных друзей не удалось: в конфетах содержался ликер, это такой, кто не знает, пьянящий напиток. И нам французское-то угощение обломилось. Взрослые полакомились.

Больше всего досталось дяде Володе. Долька рассказывал, как мается отец, приспособившись к протезу. Ногу ему оторвало выше колена, и культя кровила, передвигался он с трудом, даже плакал от боли.

Я не видел, конечно, как он плакал. Но всей душой соглашался, чтобы именно ему доверили съесть все конфеты с ликером.

Ведь Долька сказал однажды, что отец, сжевав конфету, проговорил, прослезившись:

— Вот каким оказался мой единственный трофей!

20

Ну вот, войны кончаются, рано или поздно.

Кончилась и та, самая страшная для нас, её тыловых ребятишек. Но войны заканчиваются для всех по-разному.

Мой отец вернулся в сорок шестом, из Маньчжурии. С зелёным вещмешком и чемоданчиком из фанеры, покрашенной в серый цвет. Когда настанет срок, я поеду с этим чемоданом, набитым учебниками и двумя парами трусов и маек, поступать в университет на Урале, и счастье улыбнётся мне, потому что со мной был чемоданчик из фанеры, прошедший целую войну. Он как бы стал моим воспитателем, моим доброжелательным дядькой, который следил за моим поведением, а главное, требовал жить разумно.

Я этого не понимал, относился к нему как к вещи и только спустя много лет понял, что он привёз мне с войны память о ней — как великий и драгоценный дар незабвения самых малых малостей той поры.

А ещё ведь отец приёз трофей, самые настоящие — да, да! Впрочем, я верю отцовским словам, что коробочку с тремя круглыми — мы увидели

такое в первый раз! — кусочками мыла, пахнущими жасмином, он купил в Маньчжурии на рынке. Мама это мыло спрятала в общее бельё, хранившееся в её старом комодe, и бельё из комода издавало этот чудесный волшебный запах, который ведь даровала война...

А закончилась она, повторю, для всех по-разному. Хотя праздновали её конец одинаково.

Незнакомые люди обнимались на улице, даже целовались, и охотнее всех целовали старух и стариков, которых вдруг необычно много оказалось в городе.

Просто жили, выживая, кто где, а тут кинулись на улицу, чтобы соединиться радостью с другими людьми.

Конечно, я не мог не заскочить в знакомый коридор! Дядя Володя стоял на одной ноге, со второй штаниной, видать, подшитой, и опирался на костыли, и в белой-белой рубахе, таких белых я, мне кажется, больше не видел. Может, накрахмаленной, что ли?

Был он навеселе и пел, а когда я вошёл, загремел:

*Вставай, страна огромная!
Вставай на смертный бой!
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!*

— Да чё ты, Володя, — крикнула ему тогда тётя Лина, тоже навеселе, — уже война кончилась, давай чего порадоустнее!

Но он допел ту песню, похожую на тяжёлую поступь какой-то громадной силы, и я подумал в тот миг своим незрелым ещё умом, что он прав, и это, именно это надо сегодня петь всем народом!

В коридор вываливали нарядно одетые его обитатели — и Андреевы вместе со всем своим выводком, и Владька с матерью, и тогда ещё не уехавшая тетя Мила с Артуром, мелькнувшим, по обычаю, у неё за спиной и тут же пропавшим.

А я торопился. Я и не очень бы толково смог объяснить, спроси меня, чего я сюда забежал в день Победы — у меня и своя школа, и мама с бабушкой, поди-ка, потеряли меня.

Я покричал со всеми, меня погладили по голове чьи-то руки, и все лица в тот день мне потом вспоминались какими-то размытыми, расслабленными, будто влажными, конечно, от слёз, и даже как будто безвольными, усталыми.

И я думал: устали от войны.

Все от войны устали.

Но война, оказывается, не кончилась.

Войны не кончаются по мановению волшебной палочки.

21

И тут с войны возвращается дядя Гриша.

Все поражались, увидев его. Он был в хорошей офицерской форме из тёмно-зелёного материала, с майорскими погонами. А грудь его сияла от наград. Да и каких!

Мы, ребята военного времени, неплохо разбирались в военных наградах, и нельзя было не восхититься двумя орденами Боевого Красного Знамени! Двамя, это же не шутка! И ещё орден Александра Невского — его генералам давали. А на правой стороне гимнастерки сияла “Звёздочка”, орден Красной Звезды, и орден Великой Отечественной войны второй степени. Ещё и медали! “За отвагу” и “За боевую доблесть”.

Впрочем, дядя Гриша, когда мы их с тётей Линой увидели с мамочкой в нашей комнатке за праздничным обедом, не был радостным и праздничным. Тётя Лина как будто одна за двоих сияла и ликовала, а майор помалкивал, отговаривался, сообщил, что ничего особенного он не совершил. Просто командовал тяжёлой артиллерией, а стодвадцатидвухмиллиметровая гаубица

образца 1938 года стреляет издали и разрушает огневые точки, всяко-разные укрепленные позиции, здания и сооружения, где засел враг, и вот полк, куда входит его подразделение, громил врага издали, по наводке, и очень умело попадал прямо в цель. Потом приходили рапорты артиллерийской разведки. Приезжали генералы и полковники и цепляли ордена. Иногда обходилось и без генералов.

И ещё дядя Гриша пил, почти не заеда! А уж как старалась тётя Лина! Я её никогда такой не видел. И ничего не понимал.

Теперь-то понимаю: даже самый острый детский ум, самый привередливый, не сразу разглядит бедствие за мелкими и недоказанными подробностями.

Итак, мой отец был в Маньчжурии, одна война — с Германией, закончилась, а с Японией продолжалась, а дядя Гриша вернулся, и что-то с тётей Линой у них не клеилось. Ларка молчала, как рыба, да и что она могла тогда сказать, я просто не знаю, да и не знал. И оставалось подозревать что-то совершенно невероятное: капитан-лейтенантов.

Они отчалили в Ленинград за полгода до конца войны — тихо, без лишнего шума, и хотя фанерная перегородка осталась, Ларка перебралась вместе с железной кроватью в ту часть, где жили морские хирурги. А мать её, тётя Лина, располагалась на широкой кровати для двоих. Эта кровать меня всегда восхищала своей странной для меня парадностью. На ней высилась пирамида из подушек, конечно, довоенных, но совершенно послевоенным образом обихоженных — пухлых, белых до больничной стерильности и прикрытых чуть ли не кружевной накидкой.

Чистота и красота!

И вдруг к нам прибегает тётя Лина в слезах и, не стесняясь меня и моей неразумности, просто кричит мамочке, что дядя Гриша ушёл к другой, а её вызывают в загс на развод по его заявлению.

Помню одну подробность: мама ей ничего не отвечает, не говорит, не утешает, а сидит, опустив голову и не глядя на свою довоенную подружку.

А потом, при мне, подняв голову и совершенно не замечая меня, спрашивает:

— А ты чего ждала?

Пауза была совершенно малюсенькая. Но была. И тетя Лина крикнула в ответ:

— Я думала! Ты мне подруга!

Мамочка тут встала и сказала:

— Подруга, но не подручная!

Ничегошеньки-то я не просёк. Тетя Лина выскочила, грохнув нашей дверью, и мы её не видели до приезда с войны моего отца.

22

Это только потом, медленно взрослея, человек научается каким-то неписанным знаниям. Ну, например, понимает вдруг, что другой человек, который был тебе знаком и даже чем-то с тобой связан, вдруг отворачивает в сторону, когда оказывается на одной с тобой стороне дороги, а то и вовсе поворачивает назад и даже бежит, чтобы на углу исчезнуть из твоих глаз, — не побежишь же ты вслед?

Когда же ты неопытен, всё подобное кажется случаем, совпадением, но уж никак не злым, осознанным каким-то поступком.

А именно так вдруг стала вести себя Ларка, дочка тётки Лины и дяди Гриши, когда-то закадычных друзей моих родителей.

То вдруг, увидев тебя, назад побежит, то в сторону — ну, бежишь, значит, чего-то забыла.

И вдруг к нам явился дядя Гриша! Да и не один, а с улыбчивой тётенькой не очень-то и моложе его!

Был он каким-то неестественно радостным — обнимался со всеми нами, меня даже поднял вровень с собой, удивился, как я вырос и потяжелел, а перед мамой встал на колени и целовал её руки.

Ну и, конечно, главная подробность! Он был при своих сияющих орденах. И в командирской гимнастёрке тёмно-зелёного цвета.

Отца, хочу повторить, ещё не было, он воевал в Маньчжурии, поэтому приход дяди Гриши с неизвестной женщиной, а не с тётей Линой как-то мамочку мою коробил, она говорила с гостями какими-то отрывочными фразами. Из всех сил хотела быть вежливой, и хоть это всё-таки получалось, но с большим трудом.

И тогда дядя Гриша сказал ей, да и мне, потому что как будто специально ко мне повернулся, подчёркивая, что всё это он объясняет и мне.

А он сказал моей мамочке:

— Хочу тебе объяснить и написать твоему мужу, моему другу: Мария — моя новая жена. А с Линой мы разошлись!

Мамочка моя сначала заплакала, потом улыбнулась, затем встала со стула и подошла к Марии, чтобы обнять её. И как же схватила её эта Мария, теперь тётя Маша! А мне хотелось спросить про Ларку, про тётю Лину — они-то где теперь?

Дядя Гриша попросил мамочку три стакана, достал из галифе бутылку водки, и они выпили её одним приемом.

И все замолчали. Совсем не помогла им эта водка, да и закусить, кроме квашеной капусты, было нечем — ведь дядя Гриша привёл свою новую жену без всякого предупреждения.

— Я пришёл к тебе, — сказал дядя Гриша моей маме, — потому что ты не можешь не знать нашего дела, а теперь знаешь и выход. Напишешь ему сама. У меня рука не поднимается.

От силы пробыли они у нас один час. Но прямо — и мне понятно — ни о чём как следует-то не поговорили.

Я потом думал, что, может, моё присутствие помешало. А ещё попозже я решил, что никому-то я не помешал. Взрослые всё знали, я догадывался, но и того, что было сказано в те считанные минуты, на самом-то деле хватило, чтобы всем всё понять.

А новая жена дяди Гриши по имени Мария — теперь, выходит, тётя Маша, — когда они уходили, повернулась к моей мамочке, поклонилась ей и сказала:

— Простите меня!

— За что? — прошептала ей мама. — Вас-то за что?

А та повторяла:

— Простите! Простите!

23

А жизнь в коридоре удивлённо взорвалась. У Андреевых родилась вторая двойня!

Ко мне прибежал Лёвка и со слезами объявил:

— У нас ещё двойня! Что мне-то делать?

И правда, я не мог сообразить, как Лёвке хоть бы уроки готовить, когда у него четверо братьев — родились-то опять мальчишки.

Бедный дядя Володя, сказал мне Лёвка, даже пошутил, что Лёню с Зиной надо награждать орденами, потому что они восполнили, да ещё и с гаком, потери коридорной системы в Великой Отечественной войне. Илья пропал без вести, Аркадия вызвали в Москву, а у него враги оторвали ногу. Но Андреевы народили четверых — в будущем! — солдат.

То ли смеясь и радуясь, то ли печалюсь и горюя, бедный шофёр выпил на радостях и упал в коридоре, потому что так всё и не мог освоить свой неверный протез. Лёвке с Долькой пришлось его поднимать и вести в свою комнату.

Но Лёвке-то и правда доставалось. Дядя Лёня, несмотря на инвалидность, где-то подрабатывал, а тётя Зина выбивалась из сил, воспитывая четвёрку малышей. И Лёвка ей требовался чуть ли как не ежеминутная подмога.

Однажды я зашёл к ним по-приятельски, пока я был там минут десять, тётя Зина два раза велела подать ей свежие трусишки для старшей двойни —

они даже писались враз, — вот такие это были во всём дружные пацанята, — поднести пару пелёнок для младшего народа, так же дружно оравшего в случае обмокания, послала с полным горшком в туалет, а горшок тот ополоснуть, поставить на электроплитку в коридоре кастрюльку, в которую налить столько-то воды и приготовить манную крупу для каши. И всё это Лёвка — а не Лев! — выполнял действительно без всякого рычания, покладисто и смиренно, но когда вышел со мной, чтобы проводить до чугунной лестницы, чуть не взвыл:

— Закончу ли я четвёртый класс?!

— Четвёртый? — удивился я. — А не седьмой?

— До седьмого я не доучусь, пожалуй, — грустно ответил Лёвка и спустился со мной вниз, на улицу. И там меня просто поразил. Полез в штаны, достал откуда-то из-под ремня завернутые в тряпицу тонкую бумажку и табак, свернул сигарку и закурил.

Перед этим мы с ним сошли по ступенькам на тротуар и завернули за угол.

И всё бы ничего, да Лёвка-то заканчивал только третий класс, рановато всё же. Даже среди оторванных пацанят этот возраст считался сопливым и не подходящим пока для курева и выпивки. Лёвка слегка опережал ход общепризнанных событий. Хуже того, Лёвка, не признающий себя Львом, не любил читать, а сказать вернее, не умел делать это свободно, как, в общем-то, тогда полагалось уважающему себя человеку. Но зато считал он отменно. Запросто, и в голове, а не на бумаге, складывал и вычитал, умножал и делил.

А тогда, в тот день и в тот миг, докуривая свою самокрутку, Лёвка деловито поделился со мной:

— Надо не забыть рот прополоскать. А то мать узнает, опять затрецину вломит.

И вдруг посмотрел на меня пристально:

— А тебе, паренёк, — проговорил серьёзно, — желаю прорваться. Ты-то прорвёшься, вот бы и мне...

Он исчез за высокой дверью, где начиналась чудесная чугунная лестница, глухо отзывавшаяся на торопливые шаги тутошних жильцов, и хотя мы не раз ещё увидимся с Лёвкой, поболтаем, подрастая, даже почти по-взрослому потреплемся, но та его уместная фраза осталась самой серьёзной в наших с ним отношениях.

Ещё совершенно детских.

24

Отец мой вернулся осенью сорок шестого года, как раз ко дню моего рождения, и первое, что мы сделали после объятий, так это пошли в баню.

В городе нашем славном функционировали три главные бани — центральная, южная и северная, и их, конечно же, не хватало, потому что в редком доме существовали собственные ванные комнаты или хотя бы душ. Таких счастливых домов было, полагаю, штук десять-двадцать, не больше, и их почему-то называли обкомовскими. Видать, там жили большие начальники. А весь остальной люд, особенно мальи́й, старый́й и женский — взрослые-то мужики частенько мылись на своих заводах, — круглую неделю, с шести утра, стояли в длиннющих банных очередях. И бани наши — тоже ведь заслуженные работники по мойке, чистке и парке всех без разбору чина граждан. Городские бани, стареющие и уходящие, надо бы давно уж назвать самыми перезаслуженными именами, потому как у этих-то истинно чернорабочих заведений не было ни единого повода возвыситься над другими — да, да, производствами, — потому что они пыхтели, выдавая горячую воду, пар, и хоть продавали при этом маленькие, как в автобусе, билетики, а доходу никакого принести своему хозяину не могли. Да и хозяин-то был у них тогда — город, а какая городу выгода может быть от того, что он граждан своих умыл?..

Умыл, попарил, веники дал — вот это за денежки, ведь на любителя, — и идите дальше, дорогие человеки, жить и трудиться.

Папа сперва хотел переодеться в штатское, но мамочка отговорила его, и хотя он изо всех сил допытывался, мол, какая разница, весело смеялась и говорила: “Сам увидишь”.

Конечно, мы обнимались, ели, а взрослые скромно выпивали, пока наконец не стало темнеть, и мама погнала нас мыться.

Банька наша была неказиста, покрытая когда-то белой краской, к победе она посерела, как будто старуха какая-то ещё больше постарела. А внутри её, до войны ещё, покрасили в тёмно-зелёный цвет, похожий на цвет грязной солдатской шинели. Я как-то подумал, может, работнички, заведовавшие покраской, перепугали что-то всерьёз. Шинель-то уж лучше бы одеть сверху, а изнутри всё окрасить белым цветом, всё же баня, и тут люди меняют ношенные поддёвки свежими, побелее, — но дальше этого соображения я не ушёл, так и оставив вопрос открытым для себя.

И вот мы с папой подходим к нашей Центральной бане. Боже! Очередь вытянулась из входной двери на улицу, даже две очереди — мужская, покороче, и женская, подлиннее.

Папа был в пилотке и гимнастёрке с медалью “За отвагу”, “Звёздочкой”, как называли орден Красной Звезды, ну и ещё с двумя медалями — “За победу над Германией” и “За победу над Японией”.

Он спросил крайнего, кто последний, узнал, когда брать билеты и долго ли стоять. А спрашивал он у старика с авоськой в руке, где лежало, наверное, свежее бельё, и тот, седой, с нестриженной бородёнкой, к отцу обернулся и внимательно вглядывался в него.

Потом сказал:

— Как сын мой! Но он под Сталинградом упокоился!

Однако не заплакал, не стал говорить об этом дальше, но приказал — моему отцу.

— А ты иди!

Папа смотрел на него, не понимая.

— Иди, иди вперёд! Без очереди! Какая тебе очередь! Германию победил, Японию победил, а теперь ещё в баню постои часа два!

Очередь давно уже повернулась к нам, смотрела на отца весело, любопытно. И все головами кивали — и мужики в мужской очереди, и женщины в женской.

Какая-то тётенька даже принялась объяснять подробности, дескать, фронтовики моются без очереди, их там, у двери в раздевалку, может быть несколько, придется подождать, но народ их всегда пропускает. Такая у этой городской невзрачной баньки благородная привычка.

Отец глянул на меня, усмехнулся:

— Ну, пойдём!

И мы начали протискиваться вдоль очереди, говорливой, курящей, какой-то озабоченной и неприветливой. Но вдруг расступаящейся перед папой в гимнастёрке и с медалями.

И так мы дошли до кассы, где билеты следовало купить, а потом и к двери в мужскую раздевалку, где женщина, берущая билеты и пускающая мыться только после того, когда освобождалось место в раздевалке, помахала отцу через головы остальных граждан и крикнула:

— Солдат! Без очереди!

Мы вошли в раздевалку и вошли в мойку, где молча мылось человек пятьдесят, если не больше. Рядами стояли бетонные лавки, откуда-то сверху спускались столбы с привинченными к ним трубами, а из труб неслась вода — холодная, уличной температуры, как выражаются некоторые, и кипяток.

В мойке люди двигались голыми, и ни медали, ни погоны мужиков друг от друга не отличали. И стояла тишина.

Нет, конечно, бухали о бетон железные бадейки, иногда люди перекидывались короткими выражениями, даже вспыхивал смех, но он быстро угасал, и приходило в голову взрослое ещё тогда для меня словечко — сосредоточенность.

Да и надо ли болтать в голом виде, под шум воды, вылетающей в шайки, когда задача у каждого простая. Намылиться пару раз, окатиться водой,

да и побежать по делам. Только некоторые шли в парилку. Эти — да, сидели там долго, и дверь в парилку хлопала как-то по-особенному выразительно, с причавкиванием, будто бы со вкусом.

Но я в парилку с отцом не пошёл. Я и раньше заскакивал туда, да тотчас выбегал обратно, уж очень там жаркий висел пар, обжигающий, не для пацанов.

Отец ушёл в парилку, а я смотрел на окружавших меня голых мужиков, стариков, парней и нескольких мальчишек, но думал про папку.

По руке у него шёл белый шов, и даже явственно виднелись стежки от хирургической, может быть, иголки. Это первое ранение. От второго — следы таились внутри, в его ушах, наверное, голове, потому что контузию не бывает видно. Люди после неё плохо слышат, плохо видят и говорят, а если удаётся вылечиться, ранение такое никак не увидишь.

А ещё я думал про отца совсем по-новому. Вот мне стукнет скоро одиннадцать лет. Год назад кончилась война. Отцу поздней осенью тридцать семь лет. А когда я родился, ему было двадцать шесть. Но ещё до моего рождения он служил в армии. Два года. Значит, шесть лет его войны и два года в армии — всего восемь. Из его этих предстоящих тридцати семи. Да надо ещё восемнадцать лет вычесть, когда человек взрослым не считается. Что остаётся? Всего одиннадцать лет!

Столько, сколько мне сейчас!

И ещё я знал, что отец окончил только четыре класса. Он не любил разговоры об этом, но пояснил однажды вслух — маме, конечно, но при мне, — что он хотел скорее работать и выучился на помощника машиниста, который управляет паровозом. Но потом ушёл на завод, стал слесарем. Высшего разряда.

И тут уж никуда не уйдёшь — отец умел всё делать. И по дому. И по железу.

Оглянулся я от его оклика, вздёрнулся, засмеялся, загоня в себя своё ненужное умение складывать и вычитать, и мысли эти откинул.

Возвращаясь из арифметики моего отца, я снова увидел много-много почти одинаковых мужских тел, нешумно трущих себя, укутывающих себя мыльной пеной, обливающих себя сосредоточенно, как будто выполняя какие-то обязательства. Или желания.

Желание быть чистым?

А почему бы и нет?

25

А потом мы пошли в гости к дяде Грише.

Не туда, где он жил до войны, не в коридорную систему к тёте Лине и дочери их Ларке, а в синим цветом покрашенный деревянный домик.

И главное, для чего нас пригласили — даже я это сразу же понял, — была новая дяди Гришина жена Мария с большим животом. Да и старый папин друг объяснил, не мешкая: он начал новую жизнь и не хочет оглядываться назад.

И они с моим папой “рванули”, по их выражению, по фронтовой. Уж что-что, а к концу войны всякий мальчишка большой страны знал, что такой фронтовые сто граммов у мужиков. И не только фронтовиков, между прочим.

Чутьку закусив, мужчины вышли покурить на улицу, а мамочка с Марией остались в крохотной комнатке накрывать стол. Мне ничего не оставалось, как выйти на улицу, но мужчины моим появлением оказались недовольны, это со взрослыми случается, когда они не хотят, чтобы их дети узнали что-нибудь лишнее.

Для кого только лишнее? И почему взрослые думают, что их дети вроде заводных игрушек: надо — завёл, поглядел, порадовался, не надо — выключил и закинул в угол.

Кивнув, я двинулся к кустам чёрной смородины, ягодки которой поблескивали в листе, а на прощание услышал, как дядя Гриша, даже чутьчку повысив голос, ответил на какой-то вопрос отцу:

— Нет, нет! Я ни за что не вернусь.

И отец сказал ему:

— Не зарекайся!

Дети, конечно, не обязаны всё понимать. Но знать они могут! Конечно, понимание — это сумма знаний, как в арифметике, только знания не цифрами измеряются, а может быть, чувствами. Душой, может быть! Да и событиями, которые наплывают одно за другим, всякие суммы сводя к нулю...

Одним словом, месяца три спустя мамочка сообщила отцу, что ребёнок, которого ждали дядя Гриша и его Мария, умер при родах. Но мать жива.

Тётя Мария, наверное, не могла ещё ходить, и дядя Гриша пришёл к нам один. Гимнастёрку с орденами он снял, ходил в пиджаке, но брюки на нём были всё те же, тёмно-зелёные офицерские галифе, в которых удобно носить бутылки.

Он её и достал, бухнул на стол, и я понял, что дядя Гриша уже нетрезвый. Пока мама собирала огурцы да сало с хлебом, он, оставшись с отцом, спросил его:

— Откуда ты всё знал?

— Что знал? — удивился папа.

— Ну ты же сказал — не зарекайся! А я зарёкся!

Я сидел на стуле в углу комнаты, и, похоже, взрослые не замечали меня, а может, просто не принимали меня во внимание.

— Ты очень спешил, — сказал отец, нахмурясь. — Ты хотел разрубить свой узел. А затянул его еще туже.

Они потом крепко выпили, и отец ушёл провожать дядю Гришу, а я спросил мамочку:

— И что теперь будет?

Она ответила мне как взрослому:

— Вот дядя Гриша сидел! Воевал! Орденов заработал великое множество. Считай, герой. А тут вот взял и сломался.

— Надвое? — спросил я.

— Натрое, — ответила мамочка задумчиво. — На арест, на войну и ещё... на кое-что!

И вдруг куда-то заторопилась, зашпешила, заругалась на меня:

— А ты-то! Ты-то что? Зачем это тебе? Ты еще мал.

— Но ведь и Ларка мала, — вдруг сказал я устало. — И ребёночек, который умер. А тётя Мария? Что с ней будет?

Вот говорят, конечно, очень задним числом, что дети в войну быстрее становились взрослыми. И сами-то эти дети давно постарели, превратятся в стариков и старух. Ну что ж, они ведь имеют право говорить и думать о себе в прошедшем времени.

Какой пацан сумеет произнести теперь такой приговор взрослым, вернувшимся не с прогулки, а с войны — страдавшим, полусломанным, дорогим?..

Да от правды не скроешься.

Ещё, наверное, полгода спустя к нам домой прискакала Ларка. Меня на улице обходила, дорогу перебежала, говорить не хотела, а тут — вдруг нате, пожалуйста.

И ничего не говорит. С ноги на ногу переминается. Топчется. Чуть не подпрыгивает, а мамочка моя её по головке гладит, отчего-то жалеет. Только зря, оказывается.

Потому что Ларка не за жалостью пришла, а с радостным для неё же сообщением.

Намолчавшись и даже предварительно напившись водицы, она сказала не мне, а маме:

— Папа вернулся.

Мама даже на табуретку плюхнулась. Перекрестилась:

— Слава Богу, простил!

Но кто простит тётю Марию, противился мой разум. Как теперь ей жить?

Нет на этот вопрос ответа. Не бывает.

Известно только, что тётя Мария насовсем уехала из города. Чтобы не мог её видеть дядя Гриша, даже случайно, на какой-нибудь автобусной остановке.

А может, и потому, чтобы не вспоминать никогда об умершей при родах её невинной дочке.

26

Вот как будто и всё.

Но войны, если они начинаются неожиданно и враз, с первыми залпами пушек и разрывами бомб, заканчиваются медленно. Как будто нехотя. Неторопливо, снова и снова обжигая задержавшимися сообщениями о найденных в окопах рассекреченных бумагах, с опозданием опознанных свидетельствах.

И тогда, скоро после Победы, узнавание и справедливость приходили не торопясь. А причины не походили друг на друга.

Одна такая зацепила и коридор.

Уже вернулся в свою старую семью дядя Гриша, уже почти наладилось довоенное бытие, уже окрепли голоса четверых братишек Андреевых, уже дядя Володя привык к своему протезу и ходил на нём, поскрипывая, но уверенно, уже давно коридор доел детские конфетки с ликером из Франции от бывших соседей.

И, наверное, уже утешилась вдова Ильи Сергеевича Ольга Петровна, как и утешился сын их Владька, как вдруг жизнь коридора взорвалась.

Одни говорили, что это произошло вечером, другие — что всё началось ранним утром, но по чугунной лестнице поднялась высокая фигура — опять в солдатской шинели без погон, с поднятым воротником.

Впрочем, этого-то никто и не видел. Зато все услышали сдавленный короткий крик — не крик, а женский вопль, будто тяжелый выдох:

— А-а-ах!

Женский вопль трудно закрепить за личностью: нельзя понять, кто именно кричит, особенно поначалу.

Но кричала Ольга Петровна! А открячав криком сдавленным что-то, выдохнув, умолкла.

На такой стон соседи не высказывают на площадку, мало ли какая боль ударила.

Но тут зачем-то вышли.

Ольга Петровна почему-то стояла на коленях, а её пытался поднять худющий дядька — кожа да кости!

И этот дядька оказался Ильей Сергеевичем! Бывшим энкавэдэшником, потом пропавшим без вести!

Он оброс многодневной щетиной, был почти неузнаваем и наклонялся к жене, другой рукой обнимая Владьку, выросшего ведь за годы войны, длинного — в отца, и если не догнавшего его ростом окончательно, то почти догнавшего.

Соседи не знали, как себя вести. Даже орденосный дядя Гриша. И уж конечно, дядя Володя, бедный водитель, не способный больше водить автобусы.

Илья Сергеевич поднял жену, прижал её к себе.

А потом, как рассказал мне Лёвка, просто отрапортовал совсем по-военному. Чтоб, наверное, сразу все знали его правду. И уже сами думали, что с такой правдой делать.

— Меня ранили. Я попал в плен. Работал у них на заводе. На военном. После победы меня осудили. И я был в нашем лагере. Теперь освобождён.

Лёвка сказал мне, что взрослые коридорной системы повели себя по-разному. Дядя Гриша шагнул навстречу дяде Илье, протянул руку и сказал:

— Раз выжил, надо жить.

А дядя Володя, хоть и простой шофёр, наоборот, молча отвернулся и закрипел казённой ногой.

Ну а дядя Леонид Андреев, Лёвкин батяня, обнял Илью Сергеевича. Тот стоял, не шевелясь.

Так сказал мне Лёвка. А я пересказал родителям.

Мы были все вместе, обедали, хлебали тощий послевоенный супец, и папа сразу отложил ложку. Опустил голову.

— Что скажешь? — спросила его мама.

— А что тут сказать? — ответил отец. — Ранение, наверное, подтверждено. А тех, кто попадал в плен, признавали предателями. Не позавидуешь. Хотя и живым остался...

А Илья Сергеевич вёл себя интересно.

Лёвка говорил, что видел его в первое утро согбенным, почти горбатым стариком. Но, посидев дома денёк-другой, вышел к соседям уже совершенно прямой, как до войны, в тот последний Новый год. И всем смотрел прямо в лицо, голову не опуская и не отводя глаза.

Вот и мне он, встретив меня на чугунной лестнице, поглядел в глаза, неожиданно протянул руку и вдруг сказал совершенно неожиданное:

— Знаешь, а я тебя там вспоминал!

Я дрогнул всем своим невеликим телом, всей душой: там, у немцев, в тылу — и я?!

И неожиданно для себя я протянул руку и потрогал его шинель. Я думал, что он в плену её носил, и, наверное, хотел что-то ощутить, понять, почувствовать, как чует какая-нибудь животина, и сделал это молча. А он понял меня с полужеста и взял мою ладонь в свою.

— Нет! — ответил он на мой бессловесный вопрос. — Те тряпки я сразу сжёг.

Он пошёл вниз по лестнице, а я стоял ошарашенный и своим жестом, и его кратким ответом.

Жили они очень бедно. Бродили разговоры, что Илья Сергеевич не может устроиться на работу, и он ходил разгружать уголь на станции. Потом его взяли на завод, потому что он оказался каким-то умелым работником, и все предполагали, что он обучился этому в плену.

Моя мамочка несколько раз относила Ольге Петровне авоськи с мукой и подсолнечным маслом, а Владька как-то спросил меня, не захочет ли мой отец снова купить у него птиц, которых он наловит для него.

Я отпу это, конечно, сказал, но от птиц он отказался, а с мамочкой зашушукался, и она снова отнесла Деньгиным немного продуктов.

И ещё мы, конечно, обсудили мою встречу на лестнице. Я спросил отца, правда ли, что Илья Сергеевич в плену, в самом что ни на есть германском аду, вспомнил меня и остальных ребят?

Он ответил довольно странно:

— Когда человеку худо, какая только чертовщина не привидится!

А потом прибавил тихо:

— И какая не привидится благодать!

— Так я... чертовщина? — вылетел из меня вопрос.

Папа усмехнулся приветливо:

— Да ты-то — благодать! Надежда в беде — добрые лица! Чьи? Конечно, детей!

Семья бывшего энкавэдэшника бедствовала года два, хотя жили тяжело все в первые-то годы после войны. Но на нём висела как бы вывеска: “Военнопленный”. Хоть и в прошлом.

А потом грянуло чудо.

Этого не увидел никто, кроме Владьки и Ольги Петровны. И не потому, что в коридоре никого не было, а потому, что эта сцена произошла за закрытой дверью.

Так что придумывать ничего не надо.

По лестнице застучали сапоги. Много сапог. Они простучали прямо в комнату Деньгиных. Все стихло.

Молва, слух, предположения — сразу облетели коридорную систему, и двери их как бы сами собой притворились плотнее в ожидании худшего — ведь такая толпа военных никогда не приходила с конфетками.

Через полчаса, минут через сорок, сапоги загремели вновь, и любопытные подружки тётя Лина и тётя Зина Андреева высунулись на площадку.

Военные были высокого чина — два полковника, майор и капитан. Шли они бодро, весело, слегка порозовев, и, увидев встревоженных женщин, один из них, наверное, самый главный, громко проговорил:

— Не бойтесь! И встречайте героя!

Пока эта весть передавалась от комнаты в комнату и пока к лестнице собиралась толпа, дверь растворилась, и вышел Илья Сергеевич.

Все ахнули. Он был до блеска выбрит — и совсем не стар. А одет в новый китель с блестящими пуговицами. И с подполковничьими погонами на плечах — две звёздочки, одна рядом с другой.

— Но ты же, — воскликнул первым изумлённый дядя Володя, — был в плену!

— В плену!

— Работал на немцев!

— Оказалось, на нас!

Дядя Вова свистнул, а Лёвка сказал мне, что взрослые удивились так сильно, что вышло, будто свистнули враз и его отец, и дядя Гриша, и будь тут дипломат Бутаков, он бы тоже свистнул от удивления.

— Придумаешь тоже! — сказал я ему в ответ на его рассказ.

— Да и я бы свистнул, — повеселел Лёвка, — если бы вовремя сообразил. И ты бы свистнул.

— Ну так давай, — ответил я.

И мы оба свистнули, восхищаясь дядей Ильёй, дядей Гришей, дядей Володицей на протезе, который скрипел на весь коридор и на всю нашу жизнь, моим отцом, которого рядом не было, и даже дипломатом Бутаковым, который оказался в Париже.

И уж, конечно, всеми нашими мамами.

Всеми, кто жил — и не жил — в этом коридоре!

Вместо эпилога

На этом надо бы поставить точку.

Получилась бы почти сказка со счастливым концом.

Но жизнь не похожа на сказку, и только изредка она возносит нас к радости, обещая сделать её вечной. А никогда не делает.

И та потаённая жизнь Ильи Сергеевича оказалась не сказкой, а правдой.

Дня через два после того, как ему вернули погоны, в своей комнате — а дома были и Ольга Петровна, и Владька, — он вдруг выкрикнул, не так уж и громко, всего одну букву “а” — и упал.

Будто сражённый пулей.

Так сказал на поминках в коридоре дядя Гриша, надевший по этому случаю свою офицерскую гимнастёрку с орденами и медалями.

Что ж, пожалуй, он один имел право тихо сказать такие слова.

И ещё он сказал, что трудно даже вообразить, как их сосед перенёс выпавшее на его долю: и плен, и работа на вражеском заводе, и тайное противление врагу, и недоверие родины, и новое заключение, и даже счастливый конец, — когда в жизни его кто-то разобрался и его признал.

— Всё он вынес, — сказал дядя Гриша, — но вынести своей собственной победы не смог!

Отец, мамочка и я были на тех похоронах и поминках.

И много-много-много лет ещё заходили к старинным друзьям из старого коридора.

Следом за Ильёй Сергеевичем умер дядя Лёня Андреев: туберкулёз у него обострился после войны, его заключили в тубдиспансер, откуда он уже не вышел, и пятеро его сыновей, во главе с Лёвкой, тихо и бесследно растворились в жизни.

Ушел и одноногий дядя Володя, шофёр без машины, а следом уехал из города Долька, бывший Адольф. Говорили, будто он поступил в военное училище.

Бутаков стал послом, но не в Париже, а в чернокожем Конго, и больше не посылал конфет с ликером.

Тётя Лина с дядей Гришей уехали за подросткой Ларкой в Москву, и мы ещё не раз и не два встречались с ними там.

Ушли и они, как и мои родители.

Однажды я приехал в город своего детства, чтобы поклониться дорогим могилкам, а возвращаясь с кладбища, решил прогуляться по старым улицам.

Зачем-то двинулся по улице, где жили знакомцы моего детства. Увидел и старый дом, окна которого были темны. На всякий случай я поднялся к большой двери и без надежды потянул её на себя.

Удивительно, но дверь нехотя открылась, и я вошёл.

Были сумерки, и я вошёл по тёмной, едва видной чугунной лестнице наверх. Двигался я осторожно, почти крадучись, потому шаги мои не отдавались эхом, да и мусор, наверное, скрадывал их.

Там, где когда-то была общая кухня, кто-то оставил огрызок свечки, прилепленный к столу, и коробок спичек.

Будто меня ждали, даже приглашали: войди.

Я зажг свечку и двинулся по знакомому коридору, сразу вздрогнув: возле стен ничего не было, ни столиков, ни корзин, например, с картошкой. Коридор был чист, но не прибран. А двери в некоторые комнаты распахнуты.

Я вошёл в самую ближнюю комнату, где жила семья дяди Гриши и Ларки. Раньше её разделяла перегородка, а за ней располагалась кровать с никелированными шариками на штырях и горой подушек. Ни подушек, ни шаров не было, а кровать стояла, похожая на объединённый рыбий остов с переломанными слабыми косточками.

Одно окно оказалось без стёкол, и на пол под ним намело треугольничек уличной пыли, и я вздрогнул. Мне вдруг показалось, я тут не один.

Я стал двигаться быстрее, заглянул в комнату Андреевых — там шелестела газета, расстеленная на полу, покачивались провода, от которых отрезали люстру.

И снова я оказался в коридоре.

В коридорной системе, как говорили раньше.

И я поклонился голым стенам, осиротевшим без присутствия хоть чьей-то жизни.

И даже сказал вслух:

— Прости! И прощай!

Мне показалось, что это меня, здесь бывшего только в гостях и только ненадолго, попрощаться просят его бывшие жильцы.

Потом старый дом снесли.

И я, приезжая в мой старый город, обхожу стороной эту улицу.

И ещё чуточку...

Помните, в русском языке, как, впрочем, и во всех других, есть понятие — времена?

Будущее, настоящее и прошедшее.

И дело в том, что все эти времена существуют воедино.

Ни одного не бывает без другого.

Такое единство и есть жизнь.

Всех, кто был, есть и будет.